**Андрей Лазарчук**

**Мост Ватерлоо**

*В этом странном и запутанном деле, которое зовется жизнью, бывают такие непонятные моменты и обстоятельства, когда вся вселенная представляется человеку одной большой злой шуткой, хотя что в этой шутке остроумного, он понимает весьма смутно и имеет более чем достаточно оснований подозревать, что осмеянным оказывается не кто иной, как он сам.*

*Г. Мелвилл*

Пылинки в солнечном луче…

Дальняя комната освещена ярко, а здесь полумрак и прохлада.

Что-то хрустит под ногой, и льется из крана вода.

Дальняя комната вся завалена бумагой, весь пол в бумагах, смятых и не смятых…

Камерон стоит в двери и весь колышится, как зной, как медуза, как желе на блюде, и кудри его золотой короной… Ворона Камерон. Ворона — рона— она — па! Пылинки в солнечном луче.

Петер!

Это кто-то зовет меня, но я не вижу никого, и только имя отдается в глубинах сердца моего, и только пятна световые ползут по стенам к потолку, и только воды низовые…

Вот именно. И только пить. Пить, есть и спать. Это все, что я могу, хочу и буду.

А женщину?

А, вот это кто. Это Брунгильда. Нет, Брунгильда, спасибо, но в другой раз. Сейчас на повестке дня совсем иные вопросы… Пылинки в солнечном луче…

А Летучий Хрен уже спрашивал про тебя, гудит Камерон, продолжая колыхаться на свету, расплываясь при этом в широченной улыбке, но уши-то у него все равно просвечивают багровым, и я ничего не могу с собой поделать, я набираю воду в рот и опрыскиваю его уши. Уши шипят и брызгаются, Камерон недоволен, а я хохочу, потому что… Ворона Камерон докрасна раскаленными ушами доблестно прокладывает себе путь в сугробе, приближая час нашей решительной победы! Летучий Хрен? А хрен с ним! Что ты ему сказал? А надо было правду — приполз, мол, и брык! Готов.

Готов.

Шиш, ребята, рано вы меня списываете в «готов», рано, мы еще повоюем, поборемся и помужествуем с ней, знаете, как это там делается? Подумаешь, неделю не спал, я и еще неделю… Что? Ах, пылинки…

У тебя шнапс есть?

Это Камерон спрашивает Брунгильду, конечно, не меня же ему спрашивать, что? Молчу, молчу. Но я молчу, так красноречиво тая под взором ваших воспаленных глаз, вздымаемых высоко к небу блестящими во тьме звездами печали, бережно хранимой и возносимой к небесам без тени страха пред томленьем слиянья бешеного тела с душою нежною и кроткой… селедкой, водкой, сковородкой…

Это что, все мне?

Да что вы! Да нет, ребята, я же просто не смогу… это все… ну хватит же… хва…

Дай ему по спине, пусть откашляется. Уже не надо.

…в топор — у-у-уп! Готов. Сплю.

…прикуп — прилипала — приличие — примадонна — примак — приманка — примат — пример — примерка — примета — примесь — примечание — примирение — примитив — примочка — принудиловка— принцесса — принятие — приоритет — припухлость — приспособление— прочее — прочее — прочее… Все на свете слова начинаются на «П», и хоть лопни — на «П» и на «П» и на «П» — и никуда от этих «П» — ну что ты будешь делать, обложили со всех сторон…

— Подъем! — Петера похлопали по плечу.

По периметру периастра поднимались перфорированные портики, попервости принятые паломниками-пломбировщиками…

— Вставай, скотина! — его тряхнули сильнее. — А то сейчас водой!

— Что? — Петер попытался сесть, не получилось, глаза тем более не открывались, но по команде «Подъем» следовало встать и одеться за сорок шесть секунд, потому что команда «Подъем» зря не дается…

— Вставай, соня, курорт окончен.

Это Камерон. Ну да, это Камерон, я же вернулся, вернулся и — ха-ха! — кое-что привез! Ну, да.

— Сколько времени?

— Семь вечера. И учти, что это уже завтрашний вечер.

— Как это?

— А так, что тебе дали поспать — ну, ты и поспал.

— Сутки? — не поверил Петер.

— Тридцать один час. Абсолютный рекорд редакции.

— Врешь ведь.

— Чтоб я сдох! — поклялся Камерон. — Вчера пытались тебя будить, но ты заехал Летучему Хрену в нос, и он велел оставить тебя в покое. А сейчас позвонил и очень тебя хочет. Ночью бомбежка была — не слышал?

— Ничего я не слышал… А мой материал?

— Экстра! Ультра! Супериор! Он сам монтировал и был близок к оргазму, его просто успели вовремя отвлечь…

— Но я голоден!

— Он сказал, что все будет.

Летучий Хрен принял Петера с распростертыми объятиями. Это на памяти Петера еще никогда добром не кончалось. Всегда за этим следовало что-нибудь… м-м… экзотическое. А тут еще и тон разговора: и гениален-то у нас один Петер Милле, и потери в личном составе агромадные, аж пять человек (двоих завалило при бомбежке, один стал заговариваться, и еще две машинистки не убереглись и забеременели), а учитывая, что задача под силу лишь подлинному таланту, так она грандиозна и значительна, тем более что через завесу секретности кое-что просачивается, и он, Летучий Хрен, глядишь, и плюнул бы на все и поехал сам, но — приказ есть приказ, он вынужден подчиняться… Петер сразу понял, что параши не избежать, поэтому сидел тихо, в ударных местах кивал и думал, как это все обернется с Брунгильдой, — а надо ли, чтобы оно как-то оборачивалось? — и не таких видали, — а жаль…

— Итак, — бодро продолжал Летучий Хрен, — группу будем формировать заново, потому что пополнение прибыло и следует пускать его в дело, а Варга твой уже оперился и ему пора давать работать самому, возьмешь двух новеньких, я их тебе покажу, и еще должен приехать какой-то из министерства пропаганды — будет старшим. Сам понимаешь, что старшим он будет только формально, потому что — ну что чиновник может смыслить в наших делах? Остальное ты знаешь все, готовься, послезавтра — адью!

— Я есть хочу, — сказал Петер.

— Тебя что, Камерон не накормил? Плохо. Бездельник. Ада! Ада! Где тебя черти носят? Накорми Милле, он у нас нынче герой. Ест он все, и помногу, но ты придумай ему что-нибудь повкуснее, только чтобы не обожрался, он мне живой нужен…

Ада увела Петера в машбюро и там под стрекот десятка машинок соорудила ему гигантскую яичницу на сливочном масле. Пока Петер ел, она сидела напротив и пригорюнясь смотрела на него. Аде было под шестьдесят, но и в эти годы она оставалась машинисткой экстра-класса; ее подобрал где-то Камерон и пристроил в редакции в обход всех приказов и правил, никто не знает, как это ему удалось. Ада натаскивала девочек-машинисток, сама вкалывала наравне со всеми да еще умудрялась каким-то чудом обихаживать всех, до кого успевала дотянуться. Камерон ею страшно гордился.

— Спасибо, Ада, — сказал Петер, подчищая сковороду корочкой хлеба.

— Что за несчастье, — сказала Ада и больше ничего не сказала, молча убрала со стола и молча ушла куда-то.

Новеньких Петер нашел в канцелярии. Прелесть что за новенькие: бледные, коротко стриженные, курносые, угловатые, в коротеньких солдатских мундирчиках шестого срока носки с наспех нашитыми жесткими погонами с парадными золотыми офицерскими коронами. Петер разыскал Менандра — тот, кот помойный, сговаривался с поварихой — и погнал его за новой формой для пацанья. Переодетые, они преобразились, и Петер стал улавливать кой-какие отличительные признаки: один чуть покрупнее, медлительнее, глаза голубые — лейтенант Армант; другой тоньше в талии, гибкий и быстрый, глаза темные, лицо и руки нервные — лейтенант Шанур. Петер поставил их перед собой и толкнул речь.

— Значит, так, — сказал он. — Вы поступили в мое распоряжение, и теперь я что захочу, то с вами и сделаю. Это ваше счастье. Я — майор Петер Милле, по должности — режиссер-оператор, по сути — та ось, вокруг которой вертится все это заведение. Послезавтра мы с вами отбываем куда-то к черту на рога снимать то, не знаю что. Поэтому сегодня и завтра будете упражняться с аппаратурой. По службе я для вас «господин майор», вне службы и по вопросам ремесла — Петер. Сейчас пойдете к майору Камерону, он вас экипирует, в смысле — выдаст аппаратуру и пленку. Тренируйтесь. Я буду проверять. Можете идти.

Новоиспеченные хроникеры вразнобой повернулись и вышли.

— Менандр! — позвал Петер.

— М-м?

— Найди мне какие-нибудь ботинки и пары три носков.

— Опять пропить изволили?

— Только подошву, верх решил оставить.

— Беда мне с вами, господин майор, как огнем на вас все горит… Знаете, я тут одного интенданта раздоить хочу, у него несколько пар есть — видели, такие высокие, на крючках — итальянские? Но нужен шнапс. А ботиночки что надо, главное — крепкие, нашим не чета.

— Бутылки две ему хватит?

— Бог с вами, одной за глаза будет. Шнапс — это же не для обмена, это же для смазки. Я вам тогда пока старые дам, разношенные, а завтра к вечеру принесу те. Хорошо?

— Конечно.

— Но все равно не пойму, как вы умудряетесь так обувку уродовать? Господин полковник за все время одну только пару износил, сейчас вторую изволит…

— Вот потому, Менандр, все и стремятся зарабатывать побольше корон — чем больше корон, тем меньше забот об обуви.

— Ваша правда, господин майор, но все-таки как вы — ну никто так больше не может…

Менандр был пройдоха из пройдох — такой пройдоха, что Петер его даже побаивался… ну, не то чтобы побаивался, а так — стеснение испытывал. Скажем, прямые обмены Менандр презирал как нечто примитивно-низменное, все комбинации его были многоходовыми и чрезвычайно сложными; пару раз он пытался растолковать Петеру смысл той или иной сделки, и Петер приходил в состояние полнейшего обалдения перед хитросплетениями ходов и выгод, с точки зрения Менандра, совершенно простыми. Полезен же Менандр был чрезвычайно, так как мог все. Среди офицеров поначалу возникла мода заключать пари на Менандра, выдумывая самые невероятные предметы, якобы необходимые для редакции, но мода эта быстро прошла, исчерпав все ресурсы фантазии. Кажется, последним, что Менандр достал (в результате этого коллекция коньяков Летучего Хрена перешла в собственность Камерона), был незаполненный, но подписанный и испещренный печатями пропуск на территорию Императорского дворца.

— Петер! — раздалось над ухом, и, конечно, кулаком по хребту, и за плечи потрясли, и опять кулаком, уже под ребра — ну конечно, это был Хильман, кто же еще? — Петер, старина, сколько лет, сколько зим!

Хильман, откуда-то вылетевший чертиком, чтобы, ошарашив своим появлением, сгинуть — такая уж у него была натура. Когда-то они с Петером три дня болтались в море на сторожевике, Петер ничего снять не смог, а Хильман сделал замечательный очерк, Петер потом прочел его и посмеялся про себя: в очерке было все, кроме того, что было на самом деле. Там-то, на сторожевике, Хильман и ошеломил Петера замечательной фразой о друзьях, а именно: «У меня этих друзей. — сказал он, — ну тысячи три, не меньше». — «А я?» — спросил тогда Петер. «И ты, конечно», — сказал Хильман. «Понятно», — сказал Петер; ему на самом деле все стало понятно. «Ты что, не веришь? — обиделся Хильман. — Да я для тебя все что угодно…» — «Спасибо, Хильман, — сказал Петер. — Верю». Хильмана звали Роем, но все почему-то называли его только по фамилии.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Петер.

— Послали, — сказал Хильман. — Сказали, у вас тут что-то намечается. В смысле — отсюда поедете.

— И ты с нами? — спросил Петер.

— Ага. Ты чем-то расстроен?

— Не знаю, — сказал Петер. — Нет, наверное. Просто устал. Вчера… пардон — позавчера вернулся, хотел поработать здесь… Опять без меня монтируют. Ты бы дал кому-нибудь свои блокноты, чтобы они там все по-своему переставляли?

— А никто не просит, — сказал Хильман. — Хорошо попросили бы если — может, и дал бы.

— А меня вот гложет… Да нет, просто устал.

— Когда ехать-то?

— Не знаю. Приедет какой-то шишковатый из министерства, скажет.

— Мне намекнули, — сказал Хильман, — что все это не на одну неделю и куда-то в тыл. Представляешь?

— В ты-ыл? — недоверчиво протянул Петер. — Что-то ты путаешь, старик.

— Ничего я не путаю. Что я, нашего главного не знаю? Он когда губу вот так делает — то на передовую. А если вот так — то или флот, или тыл. Проверено.

— Твои бы слова — да богу в уши, — сказал Петер.

Он не знал, почему это невозможно, но это было действительно невозможно — войти к Летучему Хрену и сказать: «Знаешь, я страшно устал. Мне надо отдохнуть, потому что, если я не отдохну, я сломаюсь по-настоящему. Я очень устал». Странно, конечно, но он точно знал, что это невозможно, хотя никто и никогда не пытался этого сделать. Небеса бы обрушились, если бы кто-то попытался сказать это Летучему Хрену. Молния бы сорвалась с ясного неба…

— …вечером, — сказал Хильман, это он приглашал на коньяк, и Петер кивнул: «Хорошо», но вспомнил Брунгильду и добавил: «Посмотрим». Хильман опять легко обиделся и легко распростился с обидой. «Да приду я, приду», — успокоил его Петер, и, по своему чертикову обыкновению, Хильман пропал мгновенно — только пыль взметнулась над тропою, только стук копыт отдался эхом…

Новенькие занимались с аппаратурой, и Камерон, который маячил тут же, исподтишка показал Петеру большой палец.

Петер лег, не разуваясь, задрал ноги на спинку кровати. Неизвестно еще, какими окажутся обещанные итальянские ботинки, а эти надо оставить себе: мягкие, легкие, нигде не давят, не трут и не хлябают… Он задремал и проснулся от голосов.

— Потому что это дрянь, дрянь, дрянь! — шепотом кричал один из новичков. — Потому что мне страшно подумать, что будет, если мы победим!

— А что будет? — говорил второй. — Ничего нового не будет. Зато наверняка объявят амнистию, и все твои драгоценные…

— Да разве в этом дело! Ты вдумайся: победит система, для которой главным в человеке является что? Ум? Совесть? Деловитость, может быть? Нет. Тупость, исполнительность и форма черепа. Все. Представляешь, что из этого получится лет через пятьдесят? Это же конец, конец…

— Тихо ты, услышат.

— Боишься? А представляешь целое поколение, которое всего боится? Прелесть, а? А ведь они этого добиваются — и добьются. Каждый не от слов своих, не от дел — от мыслей вздрагивать будет! Не дай бог догадается кто! Хочешь такого?

— Перестань, правда. Ну что — тебе ответ нужен? Так я не знаю ответа…

Ай да ребятки мне достались, подумал Петер. Это что же с молодежью-то делается? А, Петер?

Он встал, пошумел немного, чтобы не подумали чего, и вышел к ним, потягиваясь.

— Вольно, мужики, — сказал он, предупреждая их позыв бросить камеры и встать. — Начинаем зачет. Итак, на время: зарядить камеры!

Мужики чуть суетились, но справились с этим делом вполне прилично.

— Теперь пошли на натуру.

Петер увел их в развалины неподалеку и заставил снимать друг друга, непрерывно перебегая и заботясь при этом о собственной безопасности. Чтобы создать кой-какие иллюзии, он щедрой рукой разбрасывал взрывпакеты и два раза пальнул шумовыми ракетами — есть такие, с сиреной; вторая из этих ракет заметалась рикошетами по двору и произвела впечатление на него самого. Потом, придерживая за пояса, чтобы не разбрелись и не попадали, он отвел ребят в лабораторию. Пленку проявили мигом, девочки-лаборантки были на высоте; тут же зарядили проектор и стали смотреть, что получилось. На экране что-то возникало и металось, обычно не в фокусе, три-четыре раза появлялся и пропадал человек с камерой в руках, невозможно было понять, кто именно, мелькали тени, дымки разрывов, стены, небо, упорно вновь и вновь появлялась в кадре торчащая из груды щебня балка с кроватной сеткой наверху… Вторая пленка была не лучше, только один кадр годился — это когда оператор снимал его самого с ракетницей в руках в момент выстрела: черненький дьявол, разбрасывая огонь и дым, рванулся прямо в объектив… Петер несколько раз прокрутил это место. Дальше шла прежняя неразбериха, но это было хорошо.

— Это хорошо, — сказал он. — Рука не дрогнула.

— Не успел испугаться, — сказал темноглазый — Шанур.

— Это хорошо, — повторил Петер. — Рука должна быть твердой. Даже если снимаешь собственный расстрел.

Он гонял их по этому полигону еще трижды. Лучше не становилось, но это от усталости, к концу дня оба ног не переставляли, зато завтра, когда отоспятся, уже не будут вздрагивать и торопиться…

Брунгильда как сквозь землю провалилась, он так и не нашел ее, и с оставшейся бутылкой шнапса Петер заявился в гости. Хильман поселился у Бури, инженера-оптика; Бури занимал длинную, как вагон, комнату в полуподвале, свободное место у него было всегда, и постояльцам он был рад.

Посидели, выпили и шнапс, и коньяк, поговорили. Впрочем, говорили главным образом Бури и Хильман, Петеру все больше молчалось. Хильман красочно и с массой подробностей рассказывал, как ходил в смертный десант на Жопу Адмирала; Петер хорошо помнил этот северный архипелаг из двух близлежащих островов, получивших такое прозвище за округлость, мягкую покатость и обширность. Прозвище настолько привилось, что даже в официальных документах после названия аббревиатурно пояснялось, что же конкретно имеется в виду. В позапрошлом году Петер сам ходил туда в десант. Три дня морская пехота и кавалергарды выбивали из окопов маленький гарнизон; низкая облачность и дожди не давали действовать авиации. На четвертый день прояснилось, и над островами повисла целая авиадивизия. Вечером, когда там сгорело все, что могло гореть, кавалергарды пошли вперед. По ним не было сделано ни единого выстрела: бомбардировщнки смешали с землей всех. Потом, выходит, архипелаг снова сдали, подумал Петер без особой грусти. Сдали, опять взяли… Перепихалочки и потягушки — и вся война. Плевать.

Голоса, кажется, звучали громче, но Петера почему-то не проняло, ему стало скучно, и он пошел опять искать Брунгильду и опять не нашел. В его отсутствие Хильман и Бури заспорили о чем-то, дело дошло до взаимных оскорблений, и решили стреляться — здесь же, в подвале, с пятнадцати шагов, три выстрела, беглым огнем. Отметили барьеры, отошли, стали сходиться. Хильман начал стрелять первым, выстрелил сразу все патроны и все три раза промахнулся. Бури промахнулся дважды. Поняв, что наделал — пуля попала журналисту в лоб, он умер мгновенно, — Бури сбежал. Его поймали через месяц и по приговору полевого суда повесили за дезертирство. Если бы он не убежал, максимум, что грозило бы ему, — это передовая или три года лагерей.

— Итак, господа офицеры, вы поступаете под команду человека штатского, так сказать, шпака… да; тем не менее господин министр счел возможным сделать такое, хотя это и не в традициях нашей доблестной армии. Позвольте представиться: Гуннар Мархель, первый советник министра. Мы с вами отправляемся в то место, откуда начнется наше победоносное шествие, наш марш в историю, наше, с позволения сказать, вознесение над всеми нынешними трудностями и неудачами. Экспедиция наша продлится около двух месяцев, и за это время мы станем свидетелями и участниками величайшего торжества нашего военно-инженерного гения, свидетелями и летописцами великого свершения наших доблестных войск — творцов и носителей нашей грядущей и неминуемой победы. Эта неминуемость нашей победы, думаю, сыграла свою роль, отрицательную, подчеркиваю, роль в деле торжества наших идеалов и нашего оружия, потому что вызвала расслабленность и заторможенность у некоторых наших молодых солдат и офицеров, уверовавших в то, что победа, раз она неминуема, придет все равно — независимо от того, как ты воюешь. Нет, господа! Победа сама не придет! Победу надо добывать потом своим и кровью своей, ибо потоки пота и крови под ее фундамент — необходимое условие ее неминуемости! Его Императорское Величество просил лично передать вам, что всегда и во все времена герои на плечах своих поднимали и удерживали здание победы, и не стоит верить своим глазам, если вы, ослепленные красотой этого здания, не видите, на чьих плечах оно держится. Но Его Величество никогда не забывает этого, вот потому-то и встречают с таким подъемом на фронте и в тылу бессмертные речи Императора, как всегда, посвященные бессмертным подвигам наших героев, достойных наследников ратной славы великих предков, сокрушивших Древний Рим, Вавилон, Византию, Сирию и Египет! Тех, кто пронес сквозь века и страны чистоту и беспредельную преданность идеалам гиперборейским, воплощенным издревле в великих атлантах: Гангусе, Слолише и Ивурчорре! От самого Заратустры и до нашего дорогого Императора пролегла вечная дорога истины, и никому не удастся опорочить ее прямизну! По машинам!

Слава богу, все, подумал Петер. Но силен советник. Без бумажки, а как по писаному. Редкость по нынешним временам. Все так боятся оговориться, что перестают говорить совсем, а только пишут. И слава богу, что у него своя машина. Что-то мне не хочется сводить с ним дорожное знакомство — все равно придется, я знаю, но потом… но как неохота!

— Мужики! — в свою очередь обратился он с речью к своим. — Маршрута я не знаю, все засекречено до этого самого, следуем за лидером. Так вот: следить за воздухом в восемь глаз. Тип самолета не разбирать, сразу давать команду «Воздух!» — и из машины. Если есть кювет, то лучше всего в кювет. Нет кювета — отбегайте шагов на двадцать и — носом в землю. И не метаться. Вообще не шевелиться, пока все не закончится. Ясно?

— А говорили, что у них авиации нет совсем, — сказал Шанур.

— Кто говорил? — грустно спросил Петер.

— В газетах писали, и по радио тоже было, — сказал Шанур, и Армант покивал — да, мол, я тоже слышал.

— Ребята, — вздохнул Петер, — это вам просто очень наврали. У них такие штурмовики, что дай вам бог успеть навалить в штаны. Усекли? Тогда вперед.

И они покатили.

Сначала новички, повергнутые Петером в состояние особой настороженности, глазели в небо так, что стали навертываться облака. Потом они скисли и задремали, будить их Петер не стал, от полудремных наблюдателей толку было чуть. От наблюдателей вообще толку было немного, штурмовики, например, налетали на бреющем, и чтобы хоть как-то среагировать, времени не оставалось, все решалось на уровне везения-невезения: попадет — не попадет… Очень высоко прошли три девятки тяжелых бомбовозов, но рассмотреть, свои это или чужие, нельзя было даже в телеобъектив. Конечно, тяжелые бомбить дорогу не будут, не за такой малостью их посылают, однако… Утреннее солнце стояло справа-сзади, значит, едем на север, вдоль фронта, и до передовой здесь километров семьдесят — сто. Навстречу сплошным потоком шли грузовики, то с пехотой в кузовах, то крытые брезентом, то с ящиками, бочками, бревнами и вообще всем, что только можно перевозить на машинах; прошла и колонна этих самых новейших и секретных до безумия установок: многоосные трейлеры волоклись за танками, у которых вместо башен торчали какие-то непонятные фиговины — и все под брезентом; говорили, что снаряд такой установки выжигает местность в радиусе километра. И перед колонной, и позади нее шло множество зенитных самоходок — наготове, с торчащими вверх стволами. Надо полагать, для штурмовиков эта колонна была бы крепким орешком — хотя и лакомым, конечно. И то, что их тащат днем…

Потом встречные машины перестали попадаться. Это был плохой признак. Очень плохой. Это значило, что впереди что-то случилось, а что еще может случиться на рокадном шоссе, кроме…

Передвижение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Господин Гуннар Мархель нервно расхаживал возле машины, поглядывая на часы. Как ток пробежало известие, что на перекресток впереди, километрах в двадцати отсюда, положили бомбовый ковер. Ясно было, что следует ждать налета. Машины поползли в стороны от дороги, полотно расчищалось, и некоторые, самые отчаянные и бесшабашные или те, кто ну никак не мог задерживаться и пережидать, тронулись потихоньку вперед. Господин Мархель был из отчаянных — то ли по характеру, то ли по свойственному штатским недомыслию. Он помахал рукой Петеру и полез в свою машину. Ох как надо было бы переждать, но черный «мерседес» уже катился вперед, пробираясь между оставшимися по дороге машинами. «Во дурень», — сказал шофер Эк. Петер с ним согласился — молча, конечно, — но приказал следовать за начальством. Новички, почуяв, что дело серьезное, крутили головами с удвоенным усердием. Но первым заметил штурмовики все-таки Эк. Это случилось, когда они почти подъехали к злополучному перекрестку, — стоял знак-указатель, что до него всего два километра и головным в колоннах следует подать звуковой сигнал…

Эк не стал кричать «Воздух!» или как-то иначе выражать свое отношение к происходящему, — он просто газанул, круто вывернул руль вправо, перескочил через кювет и погнал к лесу. Эти триста метров они пролетели почти мгновенно, и тем не менее штурмовики успели раньше. Рев моторов и грохот пушечных очередей покрыл все на свете. Петер и не заметил, как оказался на земле — зеленые угловатые самолеты наискось промелькнули над дорогой. Черный «мерседес» перевернуло и подбросило, в мелкую щепу разнесло громадный крытый грузовик, обломки его долго и медленно падали сверху, а за дорогой взорвался и огромным чадным костром заполыхал бензовоз. «Сейчас вернутся, сейчас вернутся!» — кричал кто-то рядом. Штурмовики — эти же или другие — вновь пронеслись над дорогой, еще ниже, по самым головам, треща пулеметами, передние кромки их крыльев так и исходили короткими злыми язычками; загорелось еще несколько машин. Штурмовики на этот раз не пропали из виду, а, развернувшись и набрав высоту, спикировали на что-то, невидимое отсюда, и сбросили бомбы; потом еще раз развернулись и прошли опять над тем же местом, добивая из пушек и пулеметов то, что там еще оставалось. Наконец все стихло. Едва ли налет продолжался больше трех минут.

Отряхиваясь, Петер поднялся. Звенело в ушах, поэтому казалось, что вокруг страшно тихо. Их полугрузовичок стоял невредимый, и Эк уже копался в кабине, что-то там приводя в порядок. Баттен, техник-лаборант, вылез из-под машины и, щурясь, глядел вверх. Армант и Шанур рука об руку шли к машине, Шанур прихрамывал, но легонько. Петер вздохнул с облегчением — бог не выдал на этот раз. Он снова стал отряхиваться и только тут вспомнил о начальстве.

Черный «мерседес» лежал колесами кверху, и одно еще вращалось. Стоял резкий бензиновый запах — бак разнесло, бензин вытек, но почему-то не загорелся. Таким мелочам Петер привык не удивляться, ему пришлось насмотреться такого, во что уж точно нельзя было поверить: например, он видел стоящего мертвеца. Снаряд авиапушки попал в мотор, мотор разнесло, а дальше взрывная волна и осколки ворвались в кабину… Ничего там нельзя было разобрать, в кабине, — кто есть кто. Петер отошел от машины, и тут она загорелась. Что-то тлело, тлело — и дотлело до бензина. Вот и все. Приехали.

— Зачем вы подожгли машину? — спросили сзади.

Петер оглянулся. Это был невредимый, хотя и грязный донельзя господин Гуннар Мархель, — невредимый, грязный и во гневе.

— Так зачем вы ее подожгли?

— Скажите еще, что и налет я устроил, — сказал Петер, не желая вдруг сдерживаться.

— Я видел: вы подошли к машине, осмотрели ее, отошли — и она загорелась. Что, разве не так?

— Все так, — сказал Петер. — А что?

— Так зачем вы ее подожгли?

— Я не поджигал.

— Вы же сами признались!

— В чем?

— В том, что поджигали!

— Наоборот, я это категорически отрицаю.

— Но вы подошли к машине, потом отошли, и она загорелась! Следовательно, вы ее подожгли, не так ли?

— Разумеется, не так.

— А как?

— Я подошел к машине, осмотрел ее, отошел, и она загорелась.

— Без причины?

— Без причины даже лягушки не квакают.

— Ну?

— В смысле?

— В смысле — я жду от вас признания.

— В чем?

— В том, что вы подожгли машину, принадлежащую министерству пропаганды.

— Я же говорю, что не поджигал.

— Что же она — сама загорелась?

— Выходит, что так.

— Эти басни вы будете рассказывать трибуналу!

— Даже так?

— Именно так!

— Тогда, — сказал Петер, медленно начиная сатанеть, — вам придется давать объяснения тому же трибуналу, поскольку это именно вы машину подорвали и теперь пытаетесь свалить вину на меня. Зачем вы подорвали совершенно исправную казенную машину?

О, к такой наглости господин Мархель не привык! Он стоял, глотая ртом воздух и багровея, и Петер понял, что сейчас решается многое.

— Пользуясь воздушным налетом, вы попытались сорвать выполнение чрезвычайно ответственного задания! Это саботаж, и я имею право расстрелять вас на месте! Как вы иначе объясните, что остались в живых? — резко изменив тон и перейдя с громов и молний на иезуитский полушепот, спросил Петер и стал расстегивать кобуру, зная прекрасно, что заехал уже чрезвычайно далеко и обратной дороги нет. Это диктовалось не расчетом, а начисто расстроенными нервами, — умом-то он понимал, что это игра, но эмоции испытывал самые натуральные. Вполне могло дойти и до стрельбы — а если вспомнить несчастного Хильмана, то со стрельбой в этой редакции все было отлично, — но господин Гуннар Мархель, тоже, видимо, вспомнив несчастного Хильмана и понимая, что со стрельбой в этой редакции все отлично, вдруг выпустил лишний воздух, принял нормальную окраску и отступил на шаг, всем своим видом призывая к компромиссам.

— Извините, — сказал он голосом, который мог бы показаться спокойным, если бы не остекленелое постоянство высоты звуков. — Вероятно, это недоразумение. Вполне возможно при нынешних обстоятельствах, когда действия быстры, а результаты трагичны. Я успел выпрыгнуть из машины за секунду до взрыва. Возможно, имело место самовозгорание.

На том и порешили.

Планшет с картой уцелел, и господин Мархель, на четыре пятых утративший свою неприступность, разложил карту. Да, от перекрестка их путь лежал на запад, потом на северо-запад и далее, до самого Плоскогорья. Петера это не просто удивило — поразило. Плоскогорье — это место, забытое богом, а не то что людьми и тем более министерством пропаганды. Но — раз едем, значит, есть куда.

Да, но вот эти два километра до перекрестка и потом еще столько же от пего — это было страшно. Танки пробили коридор в догорающих остовах грузовиков, но разгрести все, конечно, нечего было и думать, и стоило ли догадываться, на чем подпрыгивает машина? По обе стороны дороги горели грузовики, танки, бронетранспортеры — дым был настолько плотен и удушлив, что пришлось надеть противогазы, резина мигом раскалилась и жгла лицо… Надо полагать, здесь накрылась разом целая дивизия. И слава богу, что на перекрестке свернули влево: дальше рокада была загромождена разбитой техникой до отказа, видимо, основная каша только здесь и начиналась. И даже обломки бомбардировщиков, дымно полыхающие в нескольких местах, не меняли жуткого впечатления от этой бойни…

Долго ехали молча, новички были бледны, глаза Баттена бегали.

— Останови, — сказал он вдруг Эку полузадушенно и полез из машины. Петер думал, что его сейчас будет рвать, но Баттен просто сел на землю, упершись кулаками, и долго сидел так, потом полез в кузов: — Поехали. Поехали… но как они нас… как они нас… а? Никогда бы не подумал… — Он замолчал.

— То, что вы видели, — сказал господин Мархель, — это лишь эпизод великой битвы. Никогда победы не даются бескровно, а предатели не упускают случая всадить нож в спину. Все это, разумеется, результат предательства, как вы еще сможете объяснить такое? Но наша армия найдет в себе силы ответить достойно, причем в честном и открытом бою, а не предательски, трусливо и подло, как это сделали они.

Ему никто не ответил.

Вечером добрались до Сорокаречья, местности в отрогах Плоскогорья. Дорога здесь, за годы войны не ремонтировавшаяся, была почти непроезжей. Хотя и не было дождей, в отлогих местах колеи наполняла жидкая грязь, и Эк часто врубал передний мост и блокировку — только это и выручало. В темноте уже въехали в городок, нашли комендатуру и определились на ночлег, да не как-нибудь, а в гостиницу.

Гостиница была пуста и тиха, кроме них, постояльцев не было. Каждый получил ключ от отдельного номера, Эк вернулся ненадолго к машине, а остальные разошлись спать. Новички не жались друг к другу больше, но выглядели такими сиротами, что Петер сжалился и просидел с ними целый час, отвлекая от грустных мыслей. Он помнил, и очень хорошо, это состояние полнейшей потерянности, безысходности и черной грусти. На встряску, подобную сегодняшней, люди реагировали либо такой вот прострацией, либо идиотическим возбуждением. Петер считал первое нормальным, а второе — проявлением интеллектуальной недостаточности. Господа офицеры, как он знал, придерживались противоположного мнения. Поэтому новички, которых в войсках задолбали бы до потери инстинкта самосохранения, приобрели в глазах Петера… ну, скажем так: он стал к ним теплее относиться.

Коридоры гостиницы, устланные ковровыми дорожками, все равно были невообразимо гулки, и невозможно было побороть ощущение, что за тобой кто-то идет. Ну то есть действительно кто-то шел, и нельзя было оборачиваться, потому что если обернешься, то лопнет что-то внутри, такое тугое и тонкое, — и все… Это снилось Петеру беспрерывно, наконец он встал, напился воды, отворил окно, выходящее во двор, и стал дышать холодным ночным воздухом. Стояла безумной прелести ночь. Близость гор давала себя знать, и звезды усевали небо тесно, плотно, ярко и четко. Воздух, чистый, без примесей звуков и запахов, пропускал их свет беспрепятственно, поэтому они не мигали, а горели ровно, уверенно, зная, что горят не без пользы. Общаться со звездами было просто.

Потом Петер лег, уснул спокойно, и ему приснился я, автор. Я время от времени снюсь ему, не часто, но с самого детства — с тех самых пор, как я начал его придумывать. У нас с ним время идет по-разному, и там, где у меня год, у него — полжизни. Вот сейчас мы с ним ровесники. Но пройдет еще сколько-то времени, и начнется обратный процесс — я буду становиться старше, а он — он будет по-прежнему оставаться тридцатилетним… Нет, вовсе не то, что вы подумали, — он останется жив, он выйдет почти невредим из той катавасии, которая им вскоре всем предстоит; просто почему-то когда поставлена точка, автор и герой вдруг меняются местами… это будто проходишь сквозь зеркало… черт знает что. — Все это очень странно… Зря я, наверное, думаю обо всем этом. Глядя на меня, Петер о многом догадывается, — говорят, я не умею скрывать свои мысли и на лице у меня все написано. Ну и пусть. Почему бы не разрешить неплохому человеку заглянуть в свое будущее, тем более что это будущее у него есть — а ведь этим могут похвастать очень немногие сверстники! Да, есть, — в этом будущем будет долгая, сложная и не слишком счастливая жизнь. Правда, Брунгильды там не будет… почти не будет. Так уж получится. Нет, хорошо уже хотя бы то, что он останется жив. Он женится на вдове Хильмана — пока что вины по поводу Хильмана он не чувствует, но потом им овладеет необоримая идефикс: ведь не уйди он тогда, полупьяный, на поиски Брунгильды, Хильман остался бы жив. Эта идефикс победит разум, и Петер будет считать себя виновником гибели Хильмана и начнет искупать свою вину… Вдова Хильмана, женщина властная и недалекая, измучает его, отравит ему существование, и лишь в шестьдесят лет, овдовев, он почувствует себя человеком. К тому времени он станет владельцем солидного фотоателье и, просуществовав в такой ипостаси еще десять лет, семидесятилетним стариком возьмется за пустяковый частный заказ: проявить пленку какого-то любителя… молчу, молчу! Я и так сказал уже слишком много. Это. будет не скоро: ему потребуется прожить всю жизнь, постоянно мечась между службой и домом, между нелюбимой женой и нечастыми любовницами, воспитывать детей, двух своих и одного — Хильмана… Согласен, Петер? Не смеешь возразить… Ну, что же — быть посему.

В соседнем номере не спит господин Мархель. Вот этот — загадка для меня. Кто он, откуда взялся, кем был раньше, что его ждет? Не знаю. Сейчас он сидит и смотрит перед собой, губы его шевелятся, а глаза остры и внимательны, будто видят что-то — и не будто, они определенно что-то видят, потому что в них это что-то отражается, и если бы я мог заглянуть ему в глаза… Не могу. И не просите — не могу. Не могу я смотреть в глаза господину Гуннару Мархелю. Не потому, что у него какой-то там особый взгляд… просто что-то вроде брезгливости, только на порядок сильнее… не могу, в общем. Извините.

Но что он там видит? Что-то ведь видит…

Шофер Экхоф, или просто Эк, спит спокойно, он сегодня на совесть поработал, и надо отдохнуть перед завтрашней дорогой. У Эка прекрасные нервы.

Баттен… пардон, Баттен с дамой, не будем подглядывать. Но когда и где он успел?! Ах, Баттен, ах, озорник! Такой увалень, тихоня, но ведь всегда все успевает — и без натуги, будто бы случайно. Характер, что вы хотите…

Новички спят беспокойно, Шанур разметался и будто бежит куда-то; Армант, наоборот, зарылся в подушку… ничего, ребята, привыкнете, все привыкают; ну, не то чтобы привыкают… притупляется восприятие. Вот так: шесть постояльцев гостиницы в маленьком городе… как он называется? Забыл… — в отрогах Плоскогорья, обширнейшего плато, рассеченного пополам Гросс-каньоном — километровой ширины и такой же глубины речной долиной почти четыреста километров длиной; на западе он выходит к океану, на востоке теряется в горах, между хребтами Слолиш и Ивурчорр; противник занимает противоположный берег каньона, но, сами понимаете, ни о каких активных действиях речи пока быть не могло. Пока — пока не появился в поле зрения командования некий военный инженер Юнгман… Что? Ах, ночь прошла, и Петер просыпается… доброе утро, Петер. Думаю, я больше тебе не приснюсь, пока не закончится эта история. Хотя… кто знает?

А наверху была красота! Поднимались долго и утомительно, зато когда поднялись — о, это стоило трудов! Воздух пах снегом — это при полуденном солнце, при жаре, яростной, но легкой, свежей; дорога вилась по холмам, нетронуто-зеленым, между рощами низкорослых неизвестных деревьев, между заросшими бурьяном виноградниками; попадались ручьи и речки, через которые переезжали вброд, попадались озера, до неправдоподобия синие и холодные даже на взгляд. А потом все переменилось.

С земли будто содрали кожу. Здесь поработали и бульдозеры, и прочая гусеничная техника, дорога, теперь бетонная, шла по широченной глиняно-красной полосе, где все было перерыто и перемешано, где то справа, то слева возникали непонятные строения, явно брошенные, поодиночке и группами стояли заржавленные тягачи и трактора, полуразобранные грузовики, громоздилось всякое железо, бетон, валялись бревна, доски — все ненужное, неприкаянное, негодное, устрашающе многочисленное. Так примерно выглядит зона прорыва, когда армия уходит вперед, а тылам еще недосуг заняться разборкой лома. Потом дорога расширилась и стала прямой, как стрела, как посадочная полоса — да это и есть посадочная полоса, понял Петер, резервная полоса для тяжелых бомбардировщиков. Хотел бы я знать, на что в такой глуши резервные полосы? Спросить, что ли? Он посмотрел на господина Мархеля. Господин Мархель сидел прямо, придерживаясь за поручень, и всматривался в даль. Профиль его был острый, как бритва, глаза прищурены, а губы медленно шевелились — медленно и торжественно, будто он читал… нет, не молитву… заклинание?..

Именно заклинание. Петеру показалось вдруг, что в лицо брызнуло холодом, а самый свет солнца стал разряженным и призрачным. Тьфу, чертовщина! Ладно, они там, наверху, все на этом деле сдвинутые, но я-то! Я — нормальный, сравнительно разумный человек, вчера вогнавший этого проклятого колдуна в холодный пот — сегодня просто так, без причины, боюсь задать ему вопрос. Именно боюсь. Ну и дела…

Но вскоре все стало ясно и без вопросов. По сторонам дороги вдали стали угадываться заводские корпуса, от них шли многочисленные и разнообразные «притоки» к шоссе, по притокам шли машины, и скоро на шоссе стало тесно до безобразия. Навстречу попадались главным образом тягачи с платформами на прицепе; по ходу обогнали несколько таких же, но груженных чем-то тяжелым и громоздким, но чем именно, непонятно — брезент. И вот так, в машинной толчее, в газойлевом чаду, ехали километров сто, попадались регулировочные посты, палаточные городки, много чего попадалось, но Петер утратил способность воспринимать что-либо — на него запах газойля действовал крайне угнетающе. Он не вполне очнулся, даже когда машина затормозила наконец перед свежим, желтеньким еще, щитовым домом, окруженным штабными машинами, сторожевыми вышками и колючей проволокой в два кола; проволока вдруг привлекла его внимание, он не сразу понял чем — потом только дошло, что она блестела этаким синеватым блеском. Хромированная колючка! Оригинально, черт возьми…

— Ждите меня здесь, — сказал господин Мархель и пошел к дому. Часовому он предъявил некий документ, и часовой вытянулся в струнку с такой истовостью, будто перед ним был по меньшей мере фельдмаршал. Господин Мархель зачем-то оглянулся на пороге, обвел глазами окружающий мир и вошел внутрь. Петер расслабился. Голова болела, и рыжие круги ползли снизу вверх по внутренней стороне лба. Но посидеть тихо ему не дали: из двери пулей вылетел полковник, подбежал к их машине и потребовал:

— Майор Милле, следуйте за мной!

И далее уже обычным шагом повел Петера туда, в недра дома, где что? Штаб? Резиденция? Короче, повел — мимо часовых: часовых внешних, часовых внутренних, через просторный предбанник, битком набитый офицерами, — Петер вытянулся на пороге и выбросил вперед правую руку, и эти блестящие офицеры повскакивали с мест и тоже приветствовали его имперским жестом; нет, не фронтовики вы, ребята, и говорить нечего, — ни один фронтовик вскакивать не станет, он приподнимется лениво и отмахнется, как от мухи, — за обитую кожей двойную дверь в кабинет с занавешенной картой на стене, со столом о трех тумбах и бронзовым имперским орлом — пресс-папье такое, что ли? — и трехкоронным генералом по ту сторону стола, и господином Мархелем по правую руку от генерала, и неким полковником в саперной форме (ох, и лицо у этого полковника!), и полковник-адъютант отошел на шаг влево, и Петер четко, без излишнего усердия доложил:

— Режиссер-оператор группы кинопрограммы майор Милле по вашему приказанию прибыл, господин генерал!

— Вольно, — разрешил генерал, и Петер встал вольно.

— Майор еще не в курсе, Йо, — сказал господин Мархель. обращаясь к генералу.

— Тогда сам и объясняй, — сказал генерал. — Ему же все делать придется, так, нет? Чтобы потом вопросов не возникало — выкладывай ему все.

— Твоей картой можно воспользоваться?

— Можно.

Так Петер приобщился к военной и государственной тайне чрезвычайной важности. По ту сторону Гросс-каньона лежала территория врага, причем территория, войсками и инженерными сооружениями совсем не прикрываемая. Каньон практически непреодолим, это считалось за аксиому. Нет, в мирное время, конечно, можно было бы построить мост, обычный подвесной мост — но ведь для этого надо вести работы па обоих берегах. Только инженерный гений полковника Юнгмана — вот он стоит, познакомьтесь, вам вместе работать и работать — позволил решить эту задачу. Итак, подготовительные работы закончены полностью, завтра начнется непосредственно строительство моста; через двадцать три дня мост будет наведен, и наши доблестные бронетанковые и мотомеханизированные части, пройдя по нему, развернут победоносное наступление — поистине победоносное, потому что смотрите: все коммуникации врага перерезаются, и сама столица беззащитна, — да это просто удар кинжалом в мягкое брюхо! Это завершение не просто кампании, это завершение войны — победное завершение! И все это — благодаря вот этому мосту, стальной стреле, пронзившей пустоту над каньоном! Вам, майор, предстоит во всех деталях запечатлевать все этапы великого события. Разумеется, в общих чертах мы будем направлять вас и руководить вами, но инициатива и предприимчивость ваши будут иметь колоссальное значение. Сейчас вы будете определены па жительство, и тотчас — за работу!

Петер был не то чтобы ошеломлен, но озадачен. Ему, человеку как-никак с инженерным образованием — хотя эксплуатация машин и механизмов и строительство — это, вероятно, не совсем одно и то же, — так вот, ему все это казалось безусловной технической ересью. Впрочем, чего не бывает? На месте разберемся.

На месте… Легко сказать — на месте; а попробуйте-ка, имея всего пару ног и рост метр семьдесят восемь, обойти и обозреть стройплощадку на дне ущелья глубиной метров триста, если не больше, узкого, извилистого, загроможденного стальными фермами будущего моста, да тем более еще никуда и не пускают без предварительного допроса… Часа через четыре, умаявшись до последней степени, Петер разыскал господина Гуннара Мархеля и потребовал вертолет.

Господин Мархель сидел за пишущей машинкой в блиндаже, где расположилась киногруппа, и стучал по клавишам — хорошо стучал, быстро. В зубах у него была зажата длинная тонкая сигарета. Не переставая стучать и не разжимая зубов, он объяснил Петеру, что, согласно режиму секретности и повышенной бдительности на данном объекте, все летающие предметы автоматически считаются вражескими и подлежат уничтожению всеми возможными способами, в большинстве случаев — методом расстреляния из зенитных орудий, которых здесь очень много. Ну а что касается постоянного и повсеместного пропуска, то пропуск будет, и немедленно, а пока Петер может ознакомиться с первой частью сценария будущего фильма. Фильма? Сценарий? Я полагал, что мы будем делать хронику… я всегда считал, что сценарий для хроники… м-м… излишен, события сами… События никогда не идут сами, запомните это! За каждым событием в наше время непременно стоит ум и воля Императора — или злой ум и злая воля врага, — и мы, летописцы, не можем позволить себе увлечься кажущейся естественностью и спонтанной самотечностью событий! Читайте!

Петер стал читать

«Мост Ватерлоо. Сценарий документального фильма. Часть I. Кадры фронтовой хроники: наши войска, напрягая все силы, отбивают атаки противника, нанося ему огромные потери в живой силе и технике. Карта военных действий, у карты военачальник. Задумывается, глядя на карту. Да, обстановка на фронте не радует… Инженер Юнгман склонился над расчетами. Ночь, но при свете свечей он продолжает свою работу. Глаза инженера блестят. Еще немного, еще одно усилие мысли… Есть!!! Он лихорадочно чертит чертеж, и мы видим, каким вдохновением горят его глаза. Закончив работу, он засыпает тут же, за столом, он счастлив. Следующий кадр: преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает Высшему военному совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, инженер нервничает, но вот трехкоронный генерал Айзенкопф подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу… И вот мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы, и вот расчищено место, откуда начнется великое строительство. Вы видите сооружение, похожее на немыслимых размеров прокатный стан? Это и есть тот стапель, с которого и двинется вперед наш корабль победы! Настал торжественный день. Саперы, стоя в строю, принимают поздравления генерала Айзенкопфа; и вот они в одном порыве устремляются на свои рабочие места; взревели сервомоторы, засверкали огни сварки, и первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной. А на стапеле уже следующая секция, саперы, вооруженные сварочными аппаратами, дружно пристыковывают ее к первой, превращая в единый сплошной монолит. Стальные тросы, натянутые, как струны Эоловой арфы, поддерживают это сооружение. Вот мы со стороны видим, как стометровая стрела вынеслась над каньоном и солнечные лучи преломляются в паутине блестящих тросов над ней. Сапер, снимая защитный щиток, улыбается, смеется от души — он доволен своей работой, он вытирает рукавом пот со лба, и это честный счастливый пот. Бдительно несут службу зенитчики; солдаты и офицеры всматриваются в небо — неприятельский самолет! Огонь! В небе кучно возникают шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас врезается в скалы. Обломки самолета — крупным планом. Еще обломки. И еще, и еще. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Кто-то читает письмо из дома, кто-то пишет; а вот, усевшись кружком, поют, и один подыгрывает на губной гармонике. Два сапера играют в шахматы, другие смотрят, обсуждают партию. Приносят ужин, появляются фляжки, унтер-офицер произносит тост: «За Императора! За победу!» — саперы чокаются фляжками и выпивают; потом приступают к ужину. Ночь. Саперы спят. Бдительно несет службу часовой. Шорох в темноте. «Стой! Стреляю!» Вспышка выстрела из темноты. Часовой, раненный в плечо, бросает гранату. Взрыв гранаты. Тревога! В отдалении вспыхивает и затихает стрельба. Темноту прорезают трассирующие пули. Взлетают осветительные ракеты. Приносят и складывают в ряд трупы вражеских диверсантов. Крупно — их мертвые лица. Это мальчики лет пятнадцати, еще безусые, тонкошеие. Кто послал их на верную смерть? В глазах саперов мы читаем жалость к убитым мальчикам и ненависть к их настоящим убийцам. Надо скорей прекращать эту войну! И саперы с новыми силами принимаются за работу. Уже двести метров — длина моста…»

— Я все понял, — сказал Петер.

— Не сомневался в вас, — сказал господин Мархель. — У вас великолепные данные.

Без камеры — солнце ушло — Петер спустился вниз, к основным сооружениям. Стапель, понял он. Это стапель. Ничего себе… На прокатный стан это совершенно не похоже, господин Гуннар Мархель, наверное, и не видел никогда прокатного стана. Скорее всего это напоминает увеличенный раз в десять каркас товарного вагона… бог ты мой, вот это балки! Тавры два на три, не меньше. Петер уважительно похлопал ладонью по глухому железу. И вмурованы прямо в скальное основание — на какую глубину, интересно? Что тут от прокатного стана, так это роллинги — по ним, надо думать, будут катиться фермы моста. Но какое же усилие потребуется, чтобы их выдвигать, сотни тонн, если не тысячи… если не тысячи… Вот оно что! Это такие гидроцилиндры — мать твою… Даже сравнить не с чем. Ну, Юнгман, ну, инженер! Или вправду гений, или чокнутый. Впрочем, одно другому не мешает… одни глаза чего стоят…

— Дайте свет! Репетируем сцену в штабе. Господа генералы, вокруг стола, пожалуйста. Вы заинтересованы, но недоверчивы… изображайте недоверие! Хорошо, вот так. Юнгман, говорите, доказывайте, горячитесь! Лицом работайте! Лицом, говорю! Хорошо! Йо, начинай. Ты раньше всех все понял — выходи вперед, жми ему руку, хлопни по плечу… хорошо. Юнгман, про лицо не забывай! Все! На исходные. Приготовились. Внимание. Мотор! Пошла съемка! Господа генералы… недоверчивость, недоверчивость изображайте… вот вы, слева, наклонитесь чуть вперед… достаточно. Юнгман, лицо! Играй лицом, скотина! Желваками играй! Стоп! Все сначала. На исходную. Внимание. Мотор! Пошла съемка! Генералы, недоверчивость, недо… отлично, источайте недоверчивость, так его, так! Отлично! Юнгман, что ты стоишь, как это самый, ну же! Молодец! Давай! Хорошо, хорошо! Еще продержись немного… Йо, пошел! Чуть ко мне развернись, совеем немного, вот так, руку пожми, руку… Юнгман, лицо!!! Держи лицо! По плечу, да покрепче — отлично! Просто отлично! Всё. Все пока свободны. Милле, пленки проявить, и на просмотр.

— Ладно, Гуннар, хватит, — это говорит трехкоронный генерал Йозеф Айзенкопф, или Йо — так его в глаза называет господин Гуннар Мархель и про себя — Петер. Генерал устал от всего этого шума, треска, жары и необходимости делать что-то по указке, генералы этого ужасно не любят, они натерпелись за годы своего пути к генеральству от собственных генералов и теперь превыше всего ценят в себе право выбора между здравым смыслом и желанием своей левой ноги, — тем более трехкоронные генералы. — Хватит с нас на сегодня. Отсылай своих парней, и посидим с тобой, как прежде, помнишь, в Лондоне, в Брюсселе?

— Все помню, старина, — говорит господин Мархель, и голос у него расслабленный и теплый; жестом он отсылает Петера и операторов, и на сегодня рабочий день окончен.

Уже почти полночь, а небо светлое — север. Говорят, в июне здесь вообще не бывает темноты, только сумерки, и то не долго. Сейчас середина августа, и ночи наступают настоящие. Прохладно, но не потому, что земля остыла, просто небо здесь слишком близко, это от неба тянет холодом, а земля — земля еще очень даже ничего…

— А что, братцы, — сказал Петер неожиданно для себя, — нe пойти ли нам на бережок, да не посидеть ли? Что скажете?

— Пойдемте, — сказал Шанур, — как ты, Ив?

— Как все — так и я, — сказал Армант. — Ты же знаешь.

— Хотел удостовериться, — мягко сказал Шанур.

Петер почувствовал в этой скупой переброске фразами некий подтекст, что-то недоспоренное, недоговоренное — и интонация какая-то странная… Но ведь дружные ребята, явно знакомы сто лет и понимают друг друга с полунамека.

— Стоять! — раздался окрик. — Руки за голову! Пароль!

— «Термит», — сказал Петер.

— «Тараскон», — сказали из темноты. — Кто такие?

— Кино, — сказал Петер. — Имеем пропуск повсюду.

— Проходи, — часовой осветил их фонариком, мельком взглянул в пропуск, предъявленный Петером, и отступил в темноту,

— Кто это там? — спросили издали.

— Да киношники давешние, — ответил часовой.

— Ну, эти пусть идут, — разрешили там.

Несколько саперов сидели и курили в этаком гроте, образованном скалой, бетонным навесом и какими-то металлоконструкциями. Ничего почти не освещая, тлел костерок, несчастный крохотный костерок времен тотальной светомаскировки, лежала на газете наломанная крупными кусками гороховая колбаса «салют наций», да шла по кругу фляжка.

— Садитесь, мужики, — сказали от костра.

Мужики сели. Операторы вроде засмущались, а Петер, зная законы подобных сборищ, достал специально припасенную коробку матросских сигарок и пустил по кругу. Кто из саперов гасил свои самокрутки и подпаливал сигарки, кто совал их в нагрудные карманы про запас, но настрой теперь был только в пользу новоприбывших, фляжку передали им, им же протянули колбасу, а потом откуда-то из темноты возник дымящийся котелок, три жестяные кружки, и возник в воздухе неповторимый аромат крепчайшего чая.

— А вот сахара нет, — сказал один из саперов. — Чего нет, того нет.

Все почему-то засмеялись.

— А так даже лучше, — сказал Шанур. — Так вкуснее.

— И то правда, — согласились саперы.

Интересно, из чего делают этот ром? Петер отхлебнул еще, потом стал жевать «салют наций». Шнапс — я точно знаю — из извести. А это? Опилки или брюква. Да, или опилки, или брюква, больше не из чего…

— Где вы такой чай берете? — заинтересованно спросил Шанур.

— Э-э! — махнул рукой один из саперов — громадный мужик с рубцом во всю щеку. — Такие дела только раз удаются!

Все опять засмеялись.

— А хороший табак черти флотские курят, — сказал другой сапер. — Поутюжат соленую водичку, побаламутят, потом покурят, Потом опять поутюжат. Чем не жисть?

— Нет, ребята, — сказал Петер. — Так тонуть, как они тонут, — нет уж, я лучше курить брошу.

— Видел? — спросили его.

— Сам тонул, — сказал Петер. — Холодно, мокро, страшно, мазут кругом — слава богу, подобрали.

— У нас тоже — как минные поля снимать, такого натерпишься, потом неделю ложку до рта донести не можешь, все расплескивается…

— Да, медом нигде не намазано…

— Медом-то да, медом нигде…

— По штабам хорошо.

— По штабам-то точно хорошо…

Кому на войне хорошо, а кому не очень — это самая благодарная тема; эта и еще — что начальство само не знает, чего хочет. Вырыли, допустим, капонир. Вырыли. Ага. Подходит. Вырыли, значит? Молодцы, хорошо вырыли. Теперь по-быстрому все это обратно заровняйте, а капониры во-он там стройте… Да и вообще, этот мост — затея, конечно, грандиозная, что и говорить, но какая-то уж очень канительная…

— Нас-то будете снимать? — спросили Петера.

— Само собой, — сказал Петер. — Кого же еще, как не вас?

— А говорят, артистов пришлют.

— Да бросьте вы, какие артисты?

— Да вот говорят, мол, артистов… Лолита Борхен, говорят, тоже будет.

— Документальное же кино, хроника, — сказал Петер, чувствуя мимолетный холодок где-то в области души, ибо сценарий — сценарий-то уже пишется… — Не должно, — добавил он менее уверенно.

— А этот… черный — он кто? — спросили опять

— Не знаю толком, — сказал Петер. — По должности — советник министра пропаганды.

— Так ведь мы не про должность…

— Не про должность еще не знаю, — сказал Петер.

— Вот и мы тоже опасаемся…

А потом как-то неожиданно и беспричинно развеселились. Армант принялся рассказывать анекдоты, и вышло, что был он великим анекдотчиком, не достижимым ни по репертуару, ни по артистизму. Разошлись далеко за полночь, вполне довольные собой, обществом и времяпрепровождением.

— Всё, ребята, — сказал Петер в блиндаже. — Завтра подъем до восхода, поэтому спать сразу и крепко.

— Слушаюсь, господин майор! — ответил Шанур по-уставному, и Армант не выдержал, захихикал.

Эти два обормота засопели сразу, а Петер долго еще ворочался — одолевали мысли, сомнения, планы, хотя и знал он совершенно точно, что грош цена любым его планам в означенных обстоятельствах. Потом он уснул и сразу же проснулся, но было уже утро — то есть начинало светать.

Ополоснувшись из ведра, Петер растолкал молодежь и погнал их на видовку. Надо было снять метров двести видовки — пейзажи при низком солнце. На младших Петер не слишком рассчитывал, потому накрутил эти двести метров сам. Солнце встает, Плоскогорье освещено, а в каньоне мрак, глубокий и непроницаемый; с высоты снял стапель, там копошатся люди, маленькие такие мураши; а на самом верху Петер нашел кое-что не менее интересное: бурили скважины в скале, в них на растворе загоняли двутавры, а потом к этим двутаврам приваривали мощные лебедки и наматывали на барабаны тросы, интересные очень тросы, Петер таких еще не видел: блестящие, ни пятнышка ржавчины, ни торчащей проволочки, хотя сами проволочки тонкие, едва ли не с волос толщиной; редуктор, электромотор, и кабель тянется вон в тот блиндаж, из которого выходит инженер Юнгман… Итак, инженер Юнгман в рабочей обстановке, в лучах восходящего солнца… есть.

— Уже работаете, — сказал Юнгман. — Хорошо.

— Когда же начнется? — спросил Петер.

— Через… — Юнгман посмотрел на часы. — Через пятьдесят минут. Пойдемте.

— Инженер, — сказал Петер. — Объясните мне суть дела. Я же должен знать, на что обращать внимание.

— А вам не объясняли?

— Только политический аспект.

— Я думал, вы уже в курсе… Так вот: там, внизу, на стапеле, монтируются и свариваются фермы моста. Разумеется, никакая ферма, как бы прочна ни была, не сможет выдержать своего веса при наращивании ее длины. Поэтому мы должны ее поддерживать. Отсюда, как с естественного пилона, ферма и будет поддерживаться особо прочными стальными тросами. Каждый трос способен выдержать три четверти веса одного звена фермы моста, поэтому каждое из них будет поддерживаться как минимум двумя тросами. Поскольку на последних этапах строительства из-за нарастания тангенциального коэффициента нагрузка на тросы, поддерживающие концевое звено, будет в три с половиной раза превышать его истинный вес, концевое звено будет крепиться четырьмя парами тросов, избыток прочности потребуется для компенсации собственного веса тросов, на случай возникновения автоколебаний… ну и прочего. Далее количество тросов на звено будет уменьшаться, и на последнем звене их будет минимум два. Когда конечное звено упрется в противоположный берег, оно будет там зафиксировано, а затем, избирательно натягивая тросы и создавая сжимающее напряжение в ферме посредством домкратов, мы придадим мосту параболически-арочную форму, что позволит добиться его грузоподъемности в тысячу двести — тысячу четыреста тонн, то есть пустить по мосту колонну тяжелых танков с интервалом сорок метров либо колонну грузовиков с интервалом шесть с половиной — десять метров. Таким образом, при движении танков со скоростью двадцать пять километров в час, а грузовиков — тридцать пять километров в час мы обеспечим переброску ударной танковой армии за четыре часа сорок минут. Я думаю, вам не надо объяснять, что произойдет при появлении в тылу противника ударной танковой армии?

— Не надо, — сказал Петер. — С этим мне все ясно.

Они спустились вниз на подъемнике, был тут, оказывается, и подъемник, и вовсе не обязательно было отсчитывать ногами полторы тысячи ступенек, — да ладно уж… Саперы были построены, господин Гуннар Мархель черным вороном прохаживался в отдалении, младшие операторы тратили пленку, изощряясь в выборе точек съемки, и время подходило к назначенному, а генерала все еще не было. Наконец, опоздав минут на десять, он возник, стоя в рост в своем «хорьхе», инженер Юнгман рявкнул: «Смирно! Р-равнение — на средину!» — и стал было рапортовать, но генерал отмахнулся от него и, встав с ногами на сиденье, прокричал, надсаживаясь:

— Орлы! Саперы! Вперед! Да не посрамим! По местам!

Строй распался, саперы быстро разбежались по местам, протрубили горн — и что-то началось. Началось незаметно, неявно, но движение, раз возникнув, перекидывалось на еще неподвижное, как невидимый глазу огонь, и вот медленно, с натугой, с тяжелым скрежетом растревоженного стоялого железа тронулась в стапеле, выдвигаясь из него клыкастой маской, насаженной на решетчатую шею, концевая ферма, та, которой предстояло проделать весь путь над пропастью и впиться в тугую скалистую плоть противоположного берега — вражеского берега, вражьего края… Поверху стапеля суетились саперы, цепляя тросы, пока еще свободно висящие, безвольные, тяжелые, — нет, уже натянулись, уже держат, уже звенят от натуги, тонкие и прямые. Генерал стоял неподвижно на сиденье своей машины, вскинув правую руку; Петер поймал его в видоискатель и удивился — глаза генерала были плоскими, застывшими, подернутыми тиной. Манекен это был, а не человек, дешевый лупоглазый манекен, но тут манекен шевельнулся, глаза мигнули, сосредоточились на чем-то и вновь распялись — и Петер понял, что генерал просто мертвецки пьян с утра. Распоряжался всем инженер Юнгман, да и вряд ли могло быть иначе: его замысел, его саперы… Инженер мелькал везде, неутомимо и проворно, ненадолго задерживаясь на каких-то, видимо, особо ответственных участках, и понемногу начинало казаться, что их здесь очень много, этих инженеров Юнгманов.

Петер старался побывать везде, было тесно и неудобно и никак не удавалось найти той точки, с которой можно бы было дать панораму событий, — да и не было, наверное, такой точки. Зато раз Петер сделал чудесный портрет Юнгмана, тот что-то говорил, показывая рукой, и на этот раз не требовалось ему кричать: «Держи лицо», лицо и так было что надо: вставшие дыбом короткие седоватые волосы; обширный лоб с залысинами чуть не до темени, округлый, как каска, и, как каска, нависающий над лицом; развитые надбровные дуги то ли совсем без бровей, то ли с чрезвычайно светлыми бровями; а ниже — пещероподобные глазные впадины; какие-то неживые, жесткие и малоподвижные, как у черепахи, веки, но под этими веками глаза — яростные, страшные, быстрые; острые обтянутые скулы, острый нос, почти безгубый маленький рот и нежный девичий подбородок, решительно не имеющий никакого отношения к прочим участкам лица. Когда он говорил, почему-то казалось, что щеки у него тонкие, как пергамент — так они натягивались и сминались. Вообще инженер был быстр и экономен в движениях и, кажется, очень силен, хотя производил на первый взгляд впечатление хилости. Петер потратил на него метров пятьдесят пленки и знал, что потратил очень не напрасно.

Наконец генерала увезли. В последний момент он потерял лицо, пытался спорить с адъютантом, хватался за кобуру и вдруг заплакал. Петер сидел, как Шанур, держа камеру у бедра, пытается снять этот эпизод.

В гудение механизмов, скрип и скрежет металла посторонний звук проникал тяжело и, проникнув, значение свое почти утрачивал; поэтому частый перебойный стук, напоминающий стук многих молотков в отдалении и вызывающий такое же мелкое и частое подрагивание под ногами, внимание на себя обратил не сразу. Только когда вокруг стали поднимать головы и указывать пальцами вверх, Петер догадался, что бьют зенитки. Небо было рябое от разрывов, в кого стреляли, было неясно, потом среди белых, быстро темнеющих комочков сверкнул огонек, не погас и стал падать, рисуя длинную бессильную черту; зенитки перестали стрелять сразу — самолет был один. Он упал далеко за каньоном, даже звук взрыва не долетел сюда, лишь несколько минут спустя над скалами поднялся тонкий столб синего дыма. Сначала он поднимался вертикально, потом резко переломился под прямым углом и потянулся на север — там, наверху, дул ветер.

— Я это снял, — сказал Армант Петеру, вернее, не сказал, а прокричал на ухо.

— Молодец, — крикнул в ответ Петер.

Работы не прекращались и ночью, саперы сменяли друг друга, работая в две смены по двенадцать часов. Быт саперов снимать было фантастически трудно; они размещались поотделенно в таких тесных блиндажиках, где не то что с освещением — с ручной камерой было невозможно повернуться. Поэтому по распоряжению генерала саперы в свободное от работы время соорудили декорацию: поставили просторный сруб без окон и без передней стены, внутри отделали его — не без фантазии, надо сказать: там были не только нары, но и пара плетеных кресел, и аквариум, в котором плавала деревянная утка, и кинопроектор. Саперы изображали там фронтовой быт, а потом уходили спать в свои норы, неуютные, но почти неуязвимые при любой бомбежке. Потом господин Мархель придумал эпизод с баней, и саперы построили баню; после съемок они продолжали баней пользоваться, баня понравилась, раньше мылись просто из ведра.

Побывал Петер и у зенитчиков. В районе строительства было собрано что-то около восьмисот стволов, из них половина в непосредственной близости от моста. Однажды там его застал налет, даже не то чтобы налет, просто пара истребителей на малой высоте пыталась прорваться к мосту, а может, это были свои, заблудившиеся; потом оказалось, что огонь вели только малокалиберные орудия — но от этого акустического удара он долго не мог опомниться.

— Как вы не шалеете от этого? — спрашивал он потом.

— Почему не шалеем? — отвечали ему. — Шалеем.

Весь район был запретен для полетов, летчики, конечно, знали это, но иногда или теряли ориентировку, или выбора не было — когда тянули на последнем… Не так давно, рассказывали ему, пришлось сбивать ну явно свой бомбардировщик: он шел на одпом моторе — куда уж тут огибать… Ну, постарались, сбили чисто: по второму мотору, кабину не задели, экипаж выпрыгнул. Оказалось, в экипаже этом был командующий воздушной армией, генерал. Он тут же стал орать и требовать, чтобы ему под пистолет подвели того, кто стрелял, он ему растолкует, в бога душу, как ясным днем стрелять в самолет с имперскими опознавательными знаками. Он так шумел, что кто-то вслух засомневался, а надо ли было стрелять так аккуратно. От этого генерал еще больше раззадорился, стал требовать самого главного, кто у них тут есть, тогда вышел командир полка Штром и голосом скорбным, но твердым сказал, что выполнял категорический приказ генерала Айзенкопфа, к коему генерала-летчика сейчас доставят. Генерал-летчик уехал, остальной экипаж напоили спиртом и положили спать, а на следующий день отправили восвояси. С генералом же летчиком произошла странная история: в штаб он вошел, а из штаба не вышел, и это абсолютно точно, потому что ребята с той батареи, что стоит там рядом, секли за этим зорко. Поэтому сейчас — со ссылками на писарей, шоферов, адъютантов — поговаривают, что генерал-летчик томится в подвале штаба, оборудованном под тюрьму; в том же подвале, но оборудованном под вертепчик, пьет по-черному с адъютантом генерала Айзенкопфа по особым поручениям майором Вельтом; в том же подвале преисполняется наслаждением посредством кинозвезды Лолиты Борхен; вынесен по частям в офицерских портфелях и сброшен то ли в каньон, то ли в нужник. И, надо сказать, это еще не самое странное, что происходит в штабе и вокруг него…

Мост был уже длиной около двухсот метров, когда случилась беда: лопнул один из гидроцилиндров домкратов. Струя масла под давлением триста атмосфер ударила в группу саперов, работавших на участке сварки, они собрались у трансформатора, что-то там не ладилось; пятерых рассекло, как сабельным ударом, остальные девятеро были ранены, покалечены, контужены, обожжены — трансформатор-то вспыхнул… Конечно, сработала блокировка, пожар погасили, масло теперь вытекало густой синей струей, нестрашной и безопасной, но работа остановилась. Запасной гидроцилиндр весил четыреста тонн, и установка его в такой теснине была мероприятием, мягко говоря, трудоемким. Шанур, дежуривший в то время, умудрился почти все снять, но господин Мархель пленку отобрал и тут же засветил, не вдаваясь в объяснения.

Трое суток потребовалось саперам инженера Юнгмана, чтобы снять лопнувший гидроцилиндр и поставить новый. Это была адская работа; Петер был там, в самой гуще, то снимал, то, когда кричали: «Помогай!» — помогал: подбегал и подставлял плечо, или тянул, или наваливался… Никто, наверное, не уходил отсюда все трое суток; если становилось невмоготу, спали тут же, вповалку — час, два, не больше. Юнгман посерел лицом и, когда монтаж цилиндра закончили, потребовал — именно потребовал — у Айзенкопфа отдых для саперов; Айзенкопф отказал, поскольку из-за аварии аж на три дня выбились из графика.

Ближе к вечеру господин Мархель устроил съемки в штабе. Петер сидел в уголке с камерой, а у стола в свете софитов решалась судьба двух якобы виновников аварии: помощника инженера Юнгмана, молоденького, только что из колледжа, паренька — его так и звали Студентом, и саперного старшины. Суд вершили два майора из свиты Айзенкопфа и сам господин Мархель, почему-то в форме полковника кавалергардов и с приклеенными усами. Господин Мархель проинструктировал обвиняемых, как вести себя перед камерой, чтобы все выглядело естественно. Допрос начинался вроде бы с середины.

— Так вы признаетесь, что намеренно монтировали дефектный гидроцилиндр, заранее зная, что это приведет к аварии? — спросил господин Мархель.

— Да, — тихо сказал Студент. Старшина кивнул головой.

— Громче, — сказал господин Мархель. — Да! — сказал Студент громко.

— Да, признаю, — сказал старшина.

— Таким образом, вы намеревались сорвать постройку моста в срок и дать противнику возможность подготовиться к отпору? — снова спросил господин Мархель.

— Да, — сказал Студент.

— Да, — сказал старшина.

— Вы действовали по идейным соображениям, или по недомыслию, или вас подкупили?

— Я вообще против войны, — сказал Студент так, как его научил господин Мархель. — Я пацифист.

— Мне пообещали поместье и сто тысяч динаров, — сказал старшина так, как его научил господин Мархель.

— Ясно, — сказал господин Мархель.

Он написал что-то на листочке бумаги и передал его одному из адъютантов. Тот прочел и подписал. Потом подписал другой адъютант. Господин Мархель встал.

— Именем Его Императорского Величества, — сказал он. — Согласно статье четвертой, пункт «д», вы, господин Валентин Болдвин, и статье четвертой, пункт «с», вы, господин Иржи Костелец, в полном соответствии с положениями Процессуального кодекса Военно-уголовного Уложения были подвергнуты допросу и суду тремя офицерами высшего и среднего ранга, имеющими допуск к проведению правоохранительных и судебных мероприятий. Каждый из вас признан виновным в инкриминированном ему деянии и приговорен к лишению жизни посредством расстреляния. Приговор привести в исполнение немедленно.

Студент побледнел, старшина чуть улыбнулся в усы. Вошли четыре солдата комендантской роты и лейтенант в белых перчатках. Сложив руки за спиной, Студент и старшина вышли. Старшина был спокоен, его забавлял этот спектакль, Студент нервничал, на пороге он оглянулся и попытался поймать взгляд или жест господина Мархеля, но тот углубился в бумаги, вполголоса обсуждая что-то с одним из майоров. Потом он поднял голову.

— А ты что сидишь? — вскинулся он на Петера. — Марш за ними!

Петер нагнал конвой. Впереди шел лейтенант, потом два солдата, потом осужденные, потом еще два солдата. Петер шел, снимая с руки, потом забежал вперед и пропустил их мимо себя. Получилось неплохо. Дошли до обрыва, лейтенант поставил осужденных на край, — Петер снимал, — солдат напротив, встал сбоку и посмотрел на Петера.

— Снял? — спросил он.

— Нет еще. — Петер отбежал подальше и снял всю группу. Раздался долгий автомобильный гудок. Стоя в машине и размахивая рукой, сюда несся господин Мархель.

— Стой! — кричал он.

Лейтенант пошел ему навстречу, но господин Мархель обежал его и остановился перед Петером.

Слушай, майор, я подумал — а если дождаться заката и тогда, а? На фоне заходящего солнца? Очень символично получится, как ты думаешь?

— Можно на фоне, — сказал Петер. Ему было все равно. Такие спектакли он просто презирал.

До заката оставалось с полчаса. Приговоренные и солдаты сели в кружок, закурили. Лейтенант стоял в сторонке. Господин Мархель стал на самый край обрыва и, сложив руки за спиной, раскачивался на носках. Петер забрался в его машину, шофер приподнял голову, спросил «Куда?» и потянулся к ключу. «Спи, спи», — сказал Петер. Наконец господин Мархель решил, что антураж созрел, и велел всем строиться. Петер от обрыва снял солдат комендантской роты: в касках, с автоматами наперевес — очень воинственный вид; потом отошел так, чтобы в кадре были и те, и другие, и заходящее солнце тоже, отрегулировал рапид, крикнул: «Готов!»

— Именем Императора! — надрываясь, прокричал лейтенант. — Пли!

Коротко треснули автоматы. Старшина сразу стал падать навзничь, туда, в пропасть, а Студент поднял руку и будто что-то крикнул — хотел крикнуть, но не успел… Он упал лицом вперед, и солдаты, подойдя, сапогами спихнули его с обрыва.

Петер понял, что он все еще снимает, хотя пленка кончилась; индикатор горел, а он все давил и давил на спуск…

Он приходил в себя как-то послойно: вот ему казалось, что уже все в порядке и то, что было на обрыве, — просто сон, от которого трудно избавиться, но потом приходило понимание, что сон — это не то, что было на обрыве, а то, что происходит сейчас, когда тебе кажется, что сном было то; потом он посмотрел отснятую пленку и окончательно убедился, что все это было наяву, но потом ему стало казаться, что пленку он смотрел во сне, а настоящая пленка еще лежит у Баттена непроявленная, а Баттен, по обыкновению, смотался куда-то, и найти его невозможно, потом приходил Баттен и говорил, что все давно проявлено, просмотрено и складировано, потом появлялся господин Мархель и требовал от Баттена реальной работы, а не ее имитации, и оказывалось, что непроявленных лент чуть ли не больше, чем проявленных, в записях Баттена разобраться было невозможно, потом Петер все-таки разыскал эту ленту. Все было так, как ему запомнилось, это потом память стала, щадя рассудок, подсовывать миражи. И, просмотрев ленту несколько раз, Петер понял, наконец, что игра здесь идет совсем по иным правилам и сначала надо в этих правилах разобраться, а уж потом делать ставки…

Постепенно Петер стал ощущать, что теряет плотность. Такие вещи случались с ним и раньше, и он знал, что это бывает и с другими кинохроникерами и корреспондентами: на них меньше обращают внимание, иногда вообще не замечают, они становятся как бы полупрозрачными и полупроницаемыми. Часто. Петер входил без стука, и это никого не возмущало и не прекращало разговоров, причем всяких разговоров. Армант и Шанур тоже жаловались ему, что никто не обращает на них внимания до тех пор, пока они сами не заявят о себе. Это было, конечно, в порядке вещей и даже удобно тем, что вело ко многим творческим удачам; так, раз Петер зашел к инженеру Юнгману и застал его за листом, исчерченным эпюрами моментов и напряжений и испещренным формулами сопротивления на сжатие и на разрыв, — Юнгман сидел и так напряженно смотрел на бумагу, будто хотел испепелить ее взглядом. Петер снял метров двадцать, и Юнгман его так и не заметил. Но в обыденной жизни это было весьма обидно: их не приветствовали, не приглашали к огоньку, ну и так далее. И еще надолго испортил настроение нехороший разговор с господином Мархелем.

— Прекращайте тратить пленку впустую, — потребовал господин Мархель. — Прекращайте. Есть сценарий, вот и работайте по нему. Зачем вам понадобился этот идиотский эпизод с трактором?

Петер повспоминал, что это был за эпизод с трактором, вспомнил и объяснил, что эпизод нужен был, во-первых, для демонстрации беззаветной преданности саперов делу строительства моста, во-вторых, для показа объективных трудностей, с которыми им приходится сталкиваться и сообща преодолевать, в-третьих, для колорита.

— Кончайте самодеятельность, — строго сказал господин Мархель. — Впредь работайте только в соответствии со сценарием. Ясно?

— А как будем снимать диверсантов? — поинтересовался Петер.

— До диверсантов еще дойдет очередь, — сказал господин Мархель. — Вот отснимем воздушные налеты, и тогда примемся за диверсантов. И помните: все изменения в сценарий вношу я. Не вы, а я. Поняли?

Налеты начались на второй день посте этого разговора. Рано утром, не видимые простым глазом, прошмыгнули в вышине разведчики. Два были сбиты, но несколько, видимо, сделали свое дело. В полдень из-за каньона, покрывая шум работы механизмов, накатился мощный, ровный, нарастающий рев множества моторов.

— Воздух! — раздалась команда, и тут же завыла сирена.

Саперы не суетясь покидали свои места и уходили в укрытия. Бояться до сих пор приходилось не столько бомб, сколько осколков своих же снарядов. Петер загнал операторов в блиндаж к саперам, а сам пока остался.

Он выбрал себе место на краю обрыва, под скалой: отсюда хорошо был виден и мост, висящий над пропастью, и самолеты, которые шли так высоко и так густо, что отдельные машины не улавливались взглядом, просто накатывалась туча, серая и тяжелая, только вот слишком уж быстро… Почти как свою уязвимость, Петер ощутил вдруг уязвимость моста, — мост замер, ожидая, что будет, замер, накрепко притянутый к скале тросами, замер, как человек в ожидании выстрела, — Петер удивился этому, но удивился мельком, потому что туча начала распадаться, эскадрильи расходились в стороны, а часть, та, что шла в центре, заскользила, снижаясь, разгоняясь для удара — предстоял знаменитый «звездный налет», когда самолеты нападают одновременно со всех сторон и с разных высот, — Петер сумел снять это развертывание для удара, снять панорамой, кадр получался отменный, и мельком ему подумалось, что этот отменный кадр может сегодня и не уцелеть… И тут грохнули зенитки.

Это было как мордой об пол, а потом медленный звон в ушах, и мягкими кулаками молотило по голове, и где-то позади глаз сверкали белые вспышки, сливаясь в единое пламя, и Петер снимал, перезаряжал и снова снимал, уже плохо понимая, что происходит и что он сам в этом происходящем значит, — орудия били, захлебываясь от спешки, и снаряды торопливо, обгоняя друг друга, лопались в вышине, выплескивая в небо свой жар и свою ярость; и небо сначала побелело, а потом раскалилось до ярко-розового сияния, и в сиянии этом истаивали бомбовозы и уже закопченными скелетами валились вниз, волоча за собой шлейфы сгоревшего стооктанового бензина и когда-то живой плоти — земля дрожала, ходила ходуном и вздрагивала, дергалась от ударов, и черные искры сыпались из разворошенного неба, и так было долго и кончилось как-то поразительно сразу, только пойманное эхо металось в каньоне и валил откуда-то тяжелый жирный дым.

Петер сидел на земле, камера валялась рядом, и не понять было, откуда взялась такая тишина, но вот кто-то подошел к нему и помог встать. Это был Шанур, вся морда в копоти и куртка прожжена во многих местах, он что-то сказал, но вновь вернулось эхо от того берега, и Петер не расслышал и переспросил, Шанур повторил, теперь Петер расслышал, но не понял. Шанур снял с него каску, сверху на каске была вмятина, а на голове — Петер потрогал, — на голове вроде ничего такого не было, только болело под пальцами. Шанур и Армант, он тоже оказался здесь, взяли

Петера под руки и повели. Петер шел спокойно, ноги были как ноги, только земля покачивалась, как палуба.

— Отбились на первый раз, — сказал кто-то.

— И на второй отобьемся, — сердито сказал еще кто-то. — И на третий.

— Снарядов бы хватило, — сказал первый кто-то.

— Самолетов бы у них хватило, вот что, — сказал второй. — Видел, сколько сбили?

— Видел, — сказал первый. — Много.

— То-то же! — сказал второй со значением.

Странно это было: можно было либо слышать, что говорят, либо видеть, кто говорит, вместе это не складывалось, не стыковалось… хотя нет, вот вроде бы начала возвращаться острота, будто наводился фокус — и возникали звуки и цвета, фигуры и числа, и вроде бы объединялись в единую картину, как мозаика: кусочек белого стекла, кусочек красного стекла, три кусочка синего — глядь, и лебедь на пруду дует в медную дуду, а под деревом лиса распустила телеса, на нее взглянул монах и не смог сдержаться — ах!..

— Мужики, — позвал Петер, и немедленно в поле зрения сформировались встревоженные физиономии обоих мужиков. — Баттена — хоть с того света, и пусть немедленно проявит, что я тут наснимал…

А мост-то цел? Петер оглянулся. Мост был цел. Даже воронок поблизости от него не так уж много наковыряли.

Второй налет произошел часа через два. На этот раз бомбили с большой высоты и целились, видимо, по батареям. Сбит был только один бомбардировщик. Вечером, перед самым заходом, батареи отбомбили еще раз. И весь следующий день налеты продолжались беспрерывно: эскадрильи с предельной высоты вываливали бомбы и уходили, уступая место следующим, не нанося существенного урона, но и почти без потерь. Когда подвели итоги этого второго дня, оказалось, что сбито четыре самолета и еще четыре «ушли со снижением, факт падения не зафиксирован»; бомбами выведено из строя одиннадцать орудий, тридцать два артиллериста убито, девятнадцать ранено. Противник решил применять тактику измора.

Работы приостановились. Саперам грозили не столько бомбы, сколько осколки снарядов: падая с такой высоты, они сохраняли убойную силу; крупные осколки, разумеется. Зенитные снаряды создаются с таким расчетом, чтобы при взрыве возникало большое количество мелких осколков, имеющих очень большую начальную скорость — два — два с половиной километра в секунду. Такой осколок, весящий десять — пятнадцать граммов, встречая препятствие, производит огромные разрушения; однако такую большую скорость он сохраняет на дистанции пятьдесят метров или чуть больше. Он вязнет в воздухе, как в песке, и падает на землю, уже безопасный и остывший. Однако из-за отклонений в технологии производства взрывчатки, корпусов снарядов или взрывателей, из-за повышенной хрупкости или излишней прочности металла или по другим причинам, но иногда, исключительно редко, в отдельных случаях при разрыве снаряда образуются один или несколько крупных осколков. Вес их колеблется от ста граммов до килограмма и больше, а начальная скорость сравнительно невелика, и в деле противовоздушной обороны их значение близко к нулю — рой быстролетящих мелких осколков произведет в конструкции самолета куда больше разрушений, чем один крупный и сравнительно медленный осколок; но потенциальная энергия его высока — из-за большой массы — и, по пути к земле трансформируясь в кинетическую, приводит в случае соприкосновения осколка с человеческим телом к летальному исходу. Сами понимаете, при зенитном огне под осколки подворачиваются тела тех, кого огонь этот призван защищать. Но — лес рубят…

Когда над головой рвутся десятки тысяч снарядов, крупные осколки падают дождем. Стали защищаться от осколков. Над рабочими местами установили навесы из листовой стали, наделали огромное количество щитов, чтобы прикрываться, пересекая открытые пространства. При монтаже навесов больше полусотни саперов выбыло из строя, из них половина — безвозвратно; зато работы возобновились и продолжались и днем и ночью.

Где-то через неделю после возобновления работ в блиндаж к киношникам забрел инженер Юнгман. Он был явно не в себе, впервые Петер видел его настолько беспомощным. Баттен подливал ему шнапс, инженер пил, не хмелея, потом отказался: не в коня корм, — но не уходил, а все порывался, кажется, о чем-то поговорить, но все время — казалось Петеру — не решался и говорил о том, что не имело ни к чему ни малейшего отношения, — то как женился во второй раз на женщине, выходящей замуж в четвертый раз; то перескакивал на свое детство и странным образом увязывал умение плавать и способность чувствовать свои ошибки, еще не осознавая их; то, чуть не плача, доказывал, что взрывать те мосты, которые только что перед этим строил, — занятие не для разумного человека, но делать это ему приходилось, и многократно, поэтому за принадлежность свою к разумным существам он не поручится; то пространно излагал нечто о границе сред; и даже Петер со своим высшим техническим его не понял…

Погас свет, и минуту спустя лампочки чуть затеплились багровым — что-то случилось па электростанции. Тревоги, впрочем, не было, не было и посторонних звуков наподобие взрывов или выстрелов. Глаза привыкли к полумраку, и разговор возобновился, кто-то что-то сказал о неприспособленности человека к военно-полевым условиям, Петер возразил в том смысле, что попробуете еще настоящих окопов, и здешняя жизнь представится раем, и тут Юнгман сказал:

— Ничего, приспособится человек. Машина приспособит, — и улыбнулся жестоковато.

И голос его, и улыбка как-то обращали на себя внимание, и Петер спросил:

— Машина? Какая машина?

— Вообще машина. Машина с большой буквы.

Юнгман встал, уронил табурет и даже не заметил этого. Его, кажется, прорвало:

— Человечество… прогресс… процветание… свобода, равенство, братство и счастье… Чушь! Человек пребывает в приятной уверенности, что он является если не центром Вселенной, то уж хотя бы царем природы здесь, на нашей планете. Чушь, чушь! С той минуты, когда первая обезьяна взяла в руки палку и привязала к ней камень, человек возник и сразу исчез, потому что появилась Машина. Нет человека в природе! Есть Машина и есть полужидкие создания, которые при ней прижились. Человек как вид давно уже не подвержен эволюции, за него эволюционирует Машина. Идет эволюция Машины, и человек является только средством этой эволюции, так сказать, мутагенным фактором. Машина вполне сознательно отбирает себе людей. Когда-то ей понадобились люди с хорошо развитой кистью — они были отобраны и дали потомство, прочие сгинули. Ей нужны люди с хорошо развитым мозгом, на случай возникновения каких-либо кризисных ситуаций — пожалуйста, человек имеет мозг, стократно превосходящий тот, который ему необходим повседневно. Машина не подчиняет себе людей, это смешно — она их отбирает и развивает в соответствии со своими потребностями. Сегодняшними своими потребностями, заметьте. Эволюция слепа. Каменный топор не знал, что ему предстоит стать бронзовым, потом железным, потом бензопилой. Он просто потихонечку превращается из одного в другое. Цели у эволюции нет. Точнее, ее никто не знает — ни Машина, ни тем более человек. Конструктор, создающий новую форму Машины — ракету, скажем, — знает о результате своей работы не больше, чем космическая частица, поражающая яйцеклетку…

— Подождите, Юнгман, — сказал Петер. — Машина, по-вашему, — это…

— Совокупность всех машин и механизмов, существующая сейчас в мире.

— Ага, — сказал Петер и задумался. Ему представились на миг расползшиеся по континентам железные шевелящиеся заросли, маслянисто блестящие, сверкающие, ветвящиеся, как кораллы…

— …как кораллы, — подхватил его мысль инженер Юнгман, и Петер снова стал его слушать. — Новые слои нарастают, старые отмирают, все это приобретает самые причудливые формы — притом старые слои не умирают сами собой, новые душат их, отнимая металл, энергию, людей — это приводит к конфликтам…

— И государственные границы, — напомнил Петер.

— Нет, — сказал Юнгман. — Это другое. Государственные границы для Машины — это как бы клеточные мембраны, они создают необходимую для развития разность потенциалов… впрочем, когда эта разность превосходит критическую, границы не выдерживают…

— Тогда война?

— Не обязательно. Аншлюсс, колонизация, свободная торговля…

— А война?

— Война, мне кажется, это когда у Машины возникает что-то вроде раковой опухоли, и она ее удаляет…

— Интересно, — сказал Петер. — А когда мы станем ей не нужны, нас… того?

— Ну что вы, — сказал инженер, — как это — не нужны? Люди всегда будут нужны Машине, они — источник ее развития, ее изменений. Изменения всегда должны приходить извне, развития изнутри быть не может. Другое дело, что Машина вольна изменять нас самих по собственному своему усмотрению. Но что в этом страшного? Мы с вами — вид, выведенный ею искусственно. Ну и что? Вы чувствуете свою неполноценность?

— Да как сказать… До сих пор не чувствовал.

— Инженер! — вдруг заговорил Армант, голос его был напряженный и звенящий. — Получается, что вы отождествляете свою Машину с богом?

— Ну что вы, — сказал Юнгман, — какой бог? Организм, только и всего. Большой и сложный организм. Подумаешь, человеков выводит. Мы вот выводим новые породы собак — что мы, боги после этого? И вообще… бог… Бог не должен совершать таких ошибок. А то — уроды разные… тупиковые ветви эволюции… пирамиды там… и прочее. Хотя, может быть, создание бога — это и есть цель эволюции Машины? Бог из Машины… Только тогда, наверное, и человеку надо будет перестать быть лишь смазкой в ее шестеренках и возвыситься до нее. Всемогущество как цель… а если оно будет достигнуто и станет средством — тогда что? Новый виток? Ладно, пойду я…

Он поставил табурет на место и вышел. Утром его видели: совершенно спокойный, он обошел все участки, отдал несколько дельных распоряжений, потом вышел на мост, прошел по нему до самого конца — четыреста тридцать метров на тот момент, — долго стоял там, а потом прыгнул вниз. Армант, дежуривший в это утро с камерой возле моста, проследил объективом его падение до самого конца.

— Какая мелкая, себялюбивая сволочь! — негодовал господин Мархель, расхаживая по штабу; Петера он зачем-то притащил с собой. — Он что, не понимал, к чему это приведет? Как мы теперь будем снимать сцены с ним? А? Что молчишь? — обернулся он к генералу Айзенкопфу, который тоже расхаживал по штабу, но с меньшей скоростью и большей амплитудой, вместе они смотрелись как маятник стенных часов и маятник Фуко. — Может, переснять все это? А где исполнителя взять?

— Любого из моих — дарю, — сказал генерал.

— Типаж не тот, — сказал господин Мархель с досадой. — Не тот, не тот, не убеждай меня! — Он выставил перед собой ладонь. — Хоть он и сволочью оказался, а вспомни — какое лицо, а? Какие жесты!

— А может, так и сделать — мол, сволочью оказался? — раздумчиво сказал генерал.

— Да что ты говоришь? — возмутился господин Мархель. — Как это может быть, чтобы человек, который замыслил великое дело, и вдруг — сволочь? Нет, Йо, ты не понимаешь… — Он забегал еще быстрее. — Ты ни черта не понимаешь. Тогда получается, что мост — это творение сволочи, а тогда для чего он его замыслил и куда это смотрел генерал Айзенкопф? Что скажешь?

— А вот ты его сам и сыграй, — предложил генерал. Господин Мархель задумался.

— А что, Йо, — сказал он медленно, — это, кажется, идея. Это надо обмозговать. Значит, так: у нас есть большая сцена представления проекта, у нас есть несколько сцен, где он на строительстве, и несколько, когда он за работой…

— Вы уже играете одну роль, — напомнил Петер.

— Вот и отлично, — сказал господин Мархель. — Выйдет так, что инженер сам вершит суд над изменниками.

— Вы в форме кавалергарда, — напомнил Петер.

— Да кто заметит! — начал было господин Мархель, но перебил сам себя: — Верно, майор. Кому надо, заметят. Суд уже не переснять — или переснять?

— Нет, — сказал Петер. — Вы там в одном кадре… с теми.

— Жаль, — сказал господин Мархель. — А тебе, майор, это урок: впредь снимай так, чтобы было легко монтировать. Так, это отпадает. Что делать?

— Слушай, — сказал генерал, — эта сцена прыжка — она у тебя есть?

— Есть, — сказал господин Мархель. — Издалека, правда.

— Тогда дело можно представить так, что его застрелил снайпер, — сказал генерал.

— Точно, Йо! — вскричал господин Мархель. — Ну, ты и голова! И не подумаешь, что генерал!

— Стараемся, — сказал генерал, польщенный.

— Как сделать только, чтобы понятно было, что это снайпер? Телеобъективом… или в титрах просто? А, майор? Что скажешь?

— Можно просто в титрах, — сказал Петер. — А вообще-то… Есть кадр, я его снимал со спины, и он как раз закашлялся и вот так наклонился и схватился за грудь…

— Точно! — воскликнул господин Мархель. — Это то что надо! Блестяще. Ну, майор, ну, молодец, это ж надо же так, а? Какие у нас люди, Йо, да с такими людьми нам бояться нечего, такие за нами и в огонь, и в воду, и к черту в пекло…

Они смонтировали кадры, снятые Армантом, с тем, что неделей раньше снял Петер, и получилось именно так: инженер стоял на мосту, потом вдруг наклонился вперед, схватился за грудь, и дальше он уже летел вниз, в бездонную почти пропасть, и камера безжалостно прослеживала его полет.

— Теперь надо траурное построение, — сказал господин Мархель.

— Можно использовать кадры построения при открытии строительства, — сказал Петер.

— Нет, — сказал господин Мархель. — И пусть стоят обнажив головы. Выберите момент, когда стрельбы не будет, и снимите.

Начались трудности с подвозом. Чтобы обеспечить стройку всем необходимым — материалом, боеприпасами, едой, водой, горючим и вообще всем на свете, поскольку на месте, естественно, ни черта не было и быть не могло, — так вот, для этого требовалось не меньше шестисот авторейсов в сутки. Запасы, созданные заранее, растаяли моментально, с первыми же трудностями, а трудности, наоборот, все росли и росли. Авиация противника переключилась на дороги. Прикрыть зенитками все сотни километров дорог не было ни малейшей возможности, истребители по известным причинам вообще старались держаться подальше отсюда, поэтому вскоре шоферы даже под страхом расстрела отказались ездить днем — удавалось проскакивать лишь одиночным автомобилям. За ночь удавалось перевезти едва ли половину необходимого, тем более что и по ночам никаких гарантий не было: то налетали, как мошкара, легкие ночники и забрасывали грузовики мелкими бомбами и термитными шариками, то тяжелые — эти развешивали в небе «люстры» и бомбили неторопливо и прицельно, как на полигоне.

Вскоре стало совеем плохо с едой, воды выдавали по пол-литра на человека, и зенитный огонь стал не таким оголтелым. Чего по-прежнему хватало, так это горючего для генераторов — сварка! — и всякого строительного железа.

Вместо инженера Юнгмана назначили другого — Ивенса. Этот был круглолиц и рыжеват и двигался замедленно, будто его рукам, ногам и туловищу приходилось преодолевать несильное, но вполне ощутимое сопротивление. Он принял дела от заместителя Юнгмана — майора Копитхеера; Петер при этом присутствовал. Они обошли стройку, а потом Копитхеер взял свое новое начальство за пуговицу и стал ему объяснять насчет формулы Кракси — Хомберга и модифицированной формулы Бернштейна: как начальство знает, всегда все считают по Кракси — Хомбергу, а Кракси и Хомберг интеграл сигма-эль-эф принимают за ноль, хотя при больших значениях эф зависимость сигма-эпсилон становится нелинейной, а мы имеем дело как раз с очень большими значениями эф, а это значит, что в пограничном слое возникнут напряжения, совершенно не учитываемые в расчетах, поэтому он, Копитхеер, осмелился посчитать по формуле Бернштейна, хотя это и запрещено по ряду причин, начальству, разумеется, известных, — начальство покивало, — и вот какой результат у него получился; более того, он полагает, что покойный Юнгман тоже считал по этой формуле — не сразу, а дня за три до того, потому что брал у него справочник, а сегодня он, Копитхеер, справочник этот забрал обратно, а там закладка именно на этой странице, понимаете? Да-да-да. Именно так. Вот и он, наверное, тоже посчитал-посчитал, да и прыгнул с моста. Прыгнул? Почему прыгнул? Его же убил снайпер. Какой снайпер, что вы? Уверяю вас, именно снайпер. И формула Бернштейна не применяется совсем не по тем причинам, о которых вы думаете. Бернштейн не учитывает продольного сцепления силовых элементов, кроме того, он ведь неокантианец, субъективный идеалист — так что, инженер, не запудривайте разными глупостями мозги себе и другим. Идите.

Копитхеер постоял, потом порвал свои бумаги пополам, еще пополам, смял их и бросил в пространство перед собой, пнул ногой нечто воображаемое и ушел, бешено-бледный, яростно отмахивая левой рукой комментарии к какой-то произносимой про себя фразе. Петер, дождавшись ухода Ивенса, подобрал брошенные бумаги и сунул их в карман. С этим следовало разобраться подробнее.

Построение по случаю панихиды по инженеру Юнгману было назначено на пятнадцать часов. Саперы стояли сняв каски, и генерал Айзенкопф говорил речь. Речь была длинная, хотя и укладывалась примерно в такое изложение: он был хорошим гражданином, верным слугой Императора и гениальным инженером, он заложил фундамент нашей победы и пал от пули врага. Наверное, говорить коротко и емко генерал считал несолидным. Когда он перешел к тезису о том, что вот сейчас самое время в едином порыве завершить начатое им строительство и тем способствовать окончательному разгрому врага, один из саперов упал — как стоял по стойке смирно, так и упал лицом вниз. Остальные стояли не шевелясь, пока кто-то не крикнул: «Ложись!» Адъютанты генерала попадали на него сверху, прижав к земле. У сапера, упавшего первым, из-под головы выползала красная лужица. Петер подбежал к нему, перевернул на спину. Пуля попала саперу в висок.

Прикрывая Айзенкопфа со всех сторон, адъютанты увели его подальше отсюда. Сапера отнесли в тень, прикрыли брезентом. В тот день мост больше не ремонтировали: ставили дополнительные броневые щиты на рабочих местах, рыли траншеи и отсыпали брустверы, развешивали брезенты и маскировочные сети, прикрываясь от взгляда с того берега. Пули настигли еще двоих: был убит лейтенант и тяжело ранен рядовой сапер. Казалось, что принятые меры обезопасят работы — но черта с два! Пули прилетали неведомо откуда и неведомо как находили цель. Потери росли и росли. В своем блиндаже, где была только крохотная отдушина под потолком, был убит Копитхеер — в голову. Так же, в голову, был убит сапер, спавший на нарах: вечером лег головой в угол, утром стали его поднимать, а он уже холодный; уж там-то даже отдушины не было, и три наката сверху, и народ вокруг, и выстрела никто не слышал… Чудом избежал смерти Шанур: сидя на дне траншеи, он перезаряжал камеру, в какой-то момент он наклонил голову, и тут же в стенку траншеи ударила пуля. Она зацепила мочку уха, каменной крошкой посекло плечо и шею, несколько дней этим ухом Шанур не слышал. Место было глухое, вдали от каньона, совершенно непросматриваемое с тон стороны, да и вообще со дна траншеи было видно только небо. Пулю Шанур выковырял и принес Петеру; это была сплющенная девятимиллиметровая пистолетная пуля. Петер велел помалкивать и пулю спрятал до лучших времен.

Бесчинство снайперов продолжалось с неделю, потом пошло на убыль. Может быть, после того, как прибыли минометчики. Они расположились наверху, где стояли лебедки, и целыми днями обстреливали противоположный край каньона. Петер посни мал их, потом перепоручил это дело Арманту, и тому поручение пришлось по душе. У операторов вообще наметилась некая специализация: Петер больше уделял внимания производственным процессам, Шанур углубился в быт саперов и артиллеристов — не в тот официально освещаемый быт, который вместо отдыха разыгрывали перед камерой солдаты в специально отстроенных декорациях, а реальный быт, подсмотренный почти тайно; Арманта увлекало все связанное со стрельбой. Петер просматривал его материал: орлы-минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит нечто шевелящееся и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина и опускается в ствол, все зажимают уши — камера вздрагивает от ударной волны, снова тот берег, несколько секунд ожидания — и взрыв там, где только что что-то шевелилось. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает пылью и дымом. Еще с одним снайпером покончено! Петера занимал один вопрос: почему за все время у минометчиков не было ни одного убитого и даже раненого, если не считать того олуха, который в пьяном виде полез на часового? Минометчики рапортовали о своих победах, требовали огромное количество воды якобы для охлаждения стволов, а по ночам приносили эту воду саперам и обменивали на всякие приятные безделушки наподобие ножей, зажигалок, динаров и прочего.

У Копитхеера был прескверный почерк, Петер немало помучился с ним, он даже хотел было к нему сходить и попытаться объясниться, но не успел застать его в живых. Тем не менее Петер вник-таки в существо вопроса. И никому ничего не сказал. Все равно изменить ничего уже было нельзя.

Мост до момента соприкосновения с противоположным берегом представлял собой рычаг, одно плечо которого — сам мост — длиной тысячу метров удерживалось другим плечом, расположенным под углом девяносто градусов, — утесом трехсотметровой высоты, наверху которого и крепились тросы; осью вращения рычага был стапель. Юнгман, используя формулу Кракси — Хомберга, рассчитал, что прочности гранита, стальной фермы моста и тросов особого плетения хватит даже с некоторым запасом — примерно пятнадцать — двадцать процентов. Копитхеер же по запрещенной к использованию формуле Бернштейна высчитал, что прочности каждого отдельно взятого элемента действительно хватит, но в месте их взаимодействия, а именно там, где сталь вмурована в гранит, из-за различия в прочностных характеристиках этих материалов возникнут локальные напряжения, превосходящие критические. То есть в момент, когда длина моста достигнет метров восьмисот — восьмисот пятидесяти, начнется трещинообразование — вначале в месте закрепления стапеля, а чуть позже там, где крепятся тросы, то есть у основания лебедок. Таким образом, сначала стапель «поплывет» назад, но это не так страшно, это можно скомпенсировать; однако лебедки… Вначале трещины будут распространяться локально, и сваи, на которых держатся лебедки, станут чуть наклоняться вперед, как бы продавливаясь сквозь образующийся щебень; образование щебня на некоторое время парирует нарастание напряжений — до тех пор, пока длина моста не достигнет девятисот пятидесяти метров; тогда микротрещины сольются в одну макротрещину, и весь этот гранитный утес — то есть оба утеса, справа и слева от моста — как отрезанные ножом, отделяются по линии пробитых скважин от основания, и… и все. Вместе с мостом.

Мост был длиной уже семьсот шестьдесят пять метров, когда состоялся новый массированный налет. Почти две недели изматывания зенитчиков и террора на дорогах привели к тому, что зенитный огонь весьма ослаб. Какое-то количество орудий вышло из строя, люди устали до безумия и еле двигались, снарядов было в обрез… Первая атака была по обычному сценарию: с большой высоты, дразня, три эскадрильи отбомбились по батареям. И тут же, без паузы, произошел второй налет — на бреющем полете одномоторные пикировщики попытались прорваться к мосту. Что там попытались — прорвались! Не промахнись ведущий, и все было бы кончено. Маневр, предпринятый для атаки, был гениален: пикировщики, выстроившись цепочкой там, над своим берегом, незамеченными подкрались к самому каньону, перед мостом делали «горку», бросали бомбы и уходили в каньон, в мертвую для зениток зону. Но ведущий промахнулся и вывел их чуть в стороне от цели, и у них не было возможности перестроиться, потому что каждый шел в хвост предыдущему, и все они четко повторили ошибку командира, и в тот момент, когда они видели цель, у них не было возможности что-то исправить. А когда ведущий, поняв, что его промах — это промах всех, пошел на второй заход, зенитчики уже опускали стволы, и полсотни пушек ударили навстречу пикировщикам. Шесть самолетов один за другим вспыхивали и рушились в каньон, пока, наконец, пикировщики, не выдержав такого огня в лицо, не стали отваливать в сторону.

Через полчаса появились новые самолеты, — там, у противника, видимо, твердо решили, что с мостом пора кончать. Бомбардировщики прорывались сквозь поредевший огонь и бросали бомбы, как могли, прицельно. Петер, полуослепший и полуоглохший, забился между толстенными балками стапеля и продолжал снимать; несколько раз стапель содрогался так, что казалось, вот-вот все обрушится к чертям, но не обрушивалось — и бомбежка продолжалась. Снова пикировщики попытались выйти на мост — их разметали, но они продолжали кружиться, и то один из них, то другой начинали падать, целясь по мосту; Петер заметил вдруг, что моет ходит ходуном, раскачивается все сильнее и сильнее, и, наверное, поэтому они никак не могли в него попасть, — и эти раскачивания создавали странные, пробирающие до спинного мозга звуки, звуки, совершенно свободно проникающие сквозь грохот боя: будто в пустом пространстве настраивали исполинскую скрипку. Петер непроизвольно огляделся, а может быть, его так передернуло, от таких звуков впору было узлом завязываться, — и увидел сапера, старого своего знакомца, того огромного парня с рубцом на щеке — забыл, как звать, — сапер несся, катя перед собой, как тачку, эрликоновскую счетверенку, и ревел так, что Петер разобрал кое-что, когда сапер пробегал мимо него. «А-а-а, бля-а-а! — ревел он. — Катафалки к бою! Гробометы — огонь! Будем биться до усеру!!!» Он помчался по мосту, покачиваясь в такт его колебаниям, не добегая до конца, отжал установку на домкраты и открыл огонь по пикировщикам.

Бог его знает, что творилось наверху, но стапелю пока везло, узким и извилистым было ущелье, на дне которого он находился, и бомбы рвались все больше по склонам его, вниз летели камни, осколки, но прямых попаданий пока не было, пока не было, пока…

Тот бомбардировщик Петер увидел сразу. Подожженный в первом заходе, он развернулся и шел прямо на мост, вдоль оси моста, шел по прямой, не отворачивая, оба мотора горели, и зенитки лупили по нему в упор, и тот сапер из своей счетверенки поливал его трассами, а бомбардировщик все шел и шел, пока снаряд крупного калибра не разорвался у него внутри — и самолет, показав желтое брюхо, не завис и не стал разваливаться на куски прямо в воздухе, — но бомбы уже отделились от держателей и теперь шла туда, куда их нацелил разнесенный на атомы экипаж, шли, завершая последний отрезок замысленной и исполненной штурманом и пилотом траектории, и Петер ловил эти бомбы в видоискатель и только в последний момент закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.

Бомбы легли в цель.

Удар был страшной силы и со всех сторон одновременно. Петера будто сплющило, вбило в балку и опалило сокрушительным жаром, но он странным образом продолжал оставаться живым и чувствовать себя и окружающее, и, только когда его во многих местах сразу прожгло насквозь чем-то раскаленным, он испугался — и тут его взмело, подхватило и понесло, скручивая, по воздуху и совершенно небольно вмазало во что-то твердое и перевернуло и покатило куда-то, и все это время, прекрасно понимая, что именно происходит, он прижимал к животу камеру и больше всего боялся, что не удержит ее в руках; его уже не так сильно, как вначале, вдавило во что-то, и он остался лежать в кромешной тьме, вокруг грохотало и рушилось, и что-то огромное упало на землю совсем рядом с ним, подпрыгнуло и снова упало уже окончательно, — земля ударила Петера снизу, но он почему-то ничего не видел, не могло быть такого, чтобы вдруг наступила темнота.

Петер потрогал глаза, но рука наткнулась на непонятную преграду, и только боль подсказала ему, что это его собственная, свисающая со лба кожа. И с этой болью возвратилась боль остальная — такая ослепительная, что он чуть не закричал. А может быть, и закричал, потому что перестал чувствовать что-либо, кроме этой боли. Наконец его подобрали.

Две недели он пролежал в госпитале для легкораненых. Парадоксально, но факт: Петер отделался, если не считать ободранного лба, только ушибами да массой ссадин — его будто бы наждачной бумагой поскребли во всех сколько-нибудь выступающих местах. Кожу на лбу пришили на ее законное место, и теперь она страшно чесалась, но чесать ее было бесполезно, потому что прикосновений она не ощущала, — такие вот забавные вещи случаются. Петера сразу, раздев догола, с ног до головы вымазали каким-то вонючим маслом и завернули в простыню, этим же маслом пропитанную; так он и лежал, первые дни ему кололи морфин, потом что-то послабее, потом вымыли, смазали марганцовкой, выдали обмундирование и велели убираться на все четыре стороны и никогда больше сюда не попадать.

Его ждал Эк с машиной. Летучий Хрен, прознав обо всем, велел Петеру прервать командировку и вернуться в редакцию за дополнительными инструкциями. Езда причинила Петеру массу переживаний — ягодицы пострадали не менее, чем локти и колени; наконец он приспособился ехать стоя, придерживаясь за дугу тента. Эк рассказал, что мост устоял, но работы пока ведутся только восстановительные, потому что разбомбили к чертям собачьим все подъездные пути, электростанцию — ее настолько основательно, что сразу стали строить новую, — и здорово покорежили стапель. Ну, и по мелочам… да. Но налеты прекратились. Почти прекратились. В тот день сбили, говорят, пятьдесят шесть самолетов — это кого хочешь отучит…

Летучий Хрен расспросил Петера — очень кратко — о делах и велел отдыхать. В тот же вечер Менандр свозил Петера в генеральскую баню, там за него взялся огромных размеров волосатый мужик и за два часа превратил Петера в розовую ватную куклу — размял, снял коросту, распарил и измолотил руки, ноги, спину. Наутро Петер проснулся легким и обновленным. И пошел к Летучему Хрену.

— Так сразу? — удивился тот. — А я хотел тебя еще здесь подержать.

— Позарез надо, — сказал Петер. — Просто позарез.

— Ну, тогда давай выкладывай подробности, — сказал Летучий Хрен. И потом, когда Петер выложил все, что знал, и о чем догадывался, и о чем только подозревал, согласился: —Поезжай.

Возвращается на круги своя, думал Петер, — все та же докрасна ободранная земля, следы наступления великой инженерной армии, но ведь я вижу это только во второй раз, почему же кажется, что — в сотый? А вот новенькое: дюралевые обломки, разбросанные вокруг — да как много! Специально стаскивали и раскладывали вдоль дороги. А машин разбитых нет, убирают сразу с глаз долой. Рука господина Мархеля, это уж точно…

Баттен спал в блиндаже, больше никого не было; Петер посидел, потом зарядил новенькую, привезенную с собой камеру и по шел бродить по окрестностям. Разрушения, причиненные послед ней бомбежкой, были велики и бросались в глаза даже сейчас, по прошествии времени: бесформенные обломки чего-то, сгребенные бульдозерами в кучи, захламленная территория бывшей электростанции — туда свалили изуродованные фермы моста, а вот этой глыбы раньше не было, она скатилась сверху… Но работа кипела, дорогу отсыпали еще лучше прежней, новая электростанция напоминала подземный форт, а главное, везде были понарыты щели, траншеи, ходы сообщения и прочее и прочее…

В такой вот момент созерцания Петера и застал подполковник-адъютант.

— Подполковник Милле? — произнес он этаким полувопросом — знал ведь точно, но считал необходимым уточнить.

— Майор Милле, — Петер уточнил, как и предполагалось.

— Простите, подполковник, — сказал подполковник, — у меня более свежие сведения. Господин советник просит вас немедленно прибыть в штаб.

— Странно, — сказал Петер. — Почему-то я привык считать себя майором.

— Звание вам присвоено только сегодня, — сказал подполковник. — Час назад. Прошу в машину.

Господин Гуннар Мархель принял Петера стоя.

— Господин Петер Милле! — сказал он торжественно. — За примерное исполнение воинского и профессионального долга вам присвоено воинское звание подполковника от инфантерии. Примите мои поздравления.

— Слуга Его Величества! — ответил Петер, приняв предписываемую уставом стойку: пятки вместе, носки на ширину ступни, руки согнуты в локтях и локти отведены назад, подбородок приподнят.

— Вольно, — сказал господин Мархель. — А теперь побеседуем о нашей работе.

Беседа свелась к тому, что господин Мархель говорил, а Петер слушал и соглашался. В сценарий мы вынуждены внести некоторые изменения, говорил господин Мархель, и вы должны с ними ознакомиться. Возможно, придется переснять некоторые сцены. Завтра прибудет еще одна киногруппа, на этот раз с киностудии «ДОРМ», им предстоит снимать трюковые сцены, вас это не коснется, работать будете независимо друг от друга, хотя некоторая координация действий будет осуществляться, и не только мной, но и вами. Далее: участились случаи пропажи и недостачи лент у оператора Шанура. Разберитесь и доложите. Далее: по объективным причинам строительство выбилось из графика. Тем не менее при производстве съемок следует руководствоваться тем фактом, что строительство не прекращалось ни на минуту. Пока все.

Вошел лысый, гладко выбритый полковник в мешковатой шинели. Петер поприветствовал его, полковник ответил небрежно и стал по-хозяйски ходить по генеральскому кабинету, заглядывать в какие-то бумаги на столе; замерший от почтительности подполковник-адъютант, уловив некий тайный знак, сорвался с места и принял шинель. Под шинелью оказался генеральский мундир. Стоя у зеркала, лысый генерал с отвращением смотрел, как адъютант натягивает на него парик, расчесывает волосы, приклеивает усы, — как на свет божий появляется генерал Айзенкопф…

— Скотина ты, Гуннар, — сказал генерал, обретя свой былой вид. — Знал бы ты, как мне остомерзел этот маскарад!

— Но это же для твоей же безопасности, как ты не понимаешь, снайперы ведь так и охотятся за тобой.

— Да перестань ты — снайперы… Снайперы… Чуть голову нагреет — такое начинается, что впору о том снайпере молиться, чтобы поскорее и пометче… Взял бы артиста какого и мучил бы его сколько хочешь. Или пересними все, чтобы я в нынешнем виде везде был.

— Думал уже, не получается, — сказал господин Мархель.

— Заладил: не получается, не получается… Правда, возьми артистов, загримируй — и вытворяйте с ними что хотите, слова не скажу.

— Ну, Йо, ты так говоришь, что неудобно становится, ей-богу, — сказал господин Мархель. — Это же кинохроника, не что-нибудь там…

— Придумай что-нибудь, на то ты и…

— …не что-то там! Ты должен выступить перед саперами.

— Ну вот еще. Мало я выступал?

— Надо призвать их к стойкости. К стойкости перед лицом врага.

— Было уже. И к стойкости, и к верности, и к умеренности, и к самопожертвованию — ко всему было.

— Тогда было перед строем. А сейчас ты обратишься по радио. Я так и вижу: ты перед микрофоном, а следующий кадр: репродукторы, и все оборачиваются, сбегаются, на лицах — самое предельное внимание… Ты выступишь символом объединения, понимаешь?

— А что я буду говорить?

— Что всегда: доблестные воины, наследники ратной славы великих гиперборейских атлантов Гангуса, Слолиша и Ивурчорра, перед лицом коварного врага да не посрамим знамен… Ну и прочее в том же духе, сам знаешь. Призовешь к сплочению, к стоицизму, к подвижничеству.

— Надо тогда радио провести.

— Ну так проведи. Не мне же этим заниматься. Генерал кивнул адъютанту, тот четко повернулся и вышел.

— Ну, подполковник, — обратился господин Мархель к Петеру, — вы поняли свою задачу? Вот вам сценарий, читайте и думайте. Я проверю. Завтра будем снимать генерала, говорящего с народом пo радио. Готовьтесь. И насчет недостающих лент — проверьте.

— Есть, — сказал Петер.

Сценарий.

«Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры из-под ладоней вглядываются в небо: неприятельский самолет! Огонь! — командует офицер. В небе кучно возникают белые шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас…» Так, это уже было. Дальше что?

«Работает бульдозер. Вот он сгребает с дороги обломки вражеского самолета, и вдруг в стекле кабины появляется маленькая дырочка в центре паутины трещин. Дверца медленно открывается, и, хватаясь за нее руками, на землю вываливается тело сапера. Бульдозер продолжает двигаться вперед, но, лишенный воли и руки человека, застревает и впустую скребет гусеницами камень. Следующий кадр. В ряд лежат, укрытые национальным флагом, пять-шесть тел. Саперы с обнаженными головами клянутся отомстить за погибших. Следующий кадр: минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит противника и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина, опускается в ствол, все зажимают уши — выстрел. Снова тот берег, несколько секунд ожидания, и взрыв там, где только что сидел вражеский снайпер. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает дымом и пылью. Еще с одним снайпером покончено!»

Петер перелистнул сразу десяток страниц.

«Саперы со сварочными электродами в руках. Яркий свет сварки, вдруг он меркнет. Гаснет электрическая лампочка. Останавливаются моторы, приводящие в действие масляные насосы домкратов. Останавливаются лебедки, натягивающие тросы. Роторы электрогенераторов делают по инерции несколько оборотов и застывают в неподвижности. В чем дело? Почему остановились дизель-моторы? Вот он ответ: форсунки засорены песком! У кого поднялась рука на подобное злодеяние? Кто этот мерзавец? Он не ушел от ответа, он схвачен за руку, мелкий и скользкий тип, под чужой личиной проникший на стройку. Кто ты: убежденный враг, или продажная тварь, или мстительный, не прощающий мелких обид мизантроп? Все это мы узнаем. Два офицера полевой жандармерии уводят его…»

«…разбрасывая в стороны застывшие автомашины, танк рвется вперед, к мосту, но на пути его встает сапер с гранатой в руке. Бросок гранаты — и танк застывает, окутываясь дымом. Второй танк пятится, но уйти ему не удается: еще одна граната…»

«…торжественный момент. Да, свершилось! Исполинской стальной дугой соединились берега каньона, и тяжелые танки, грохоча по настилу, устремляются на вражеский берег. Вот они, не встречая сопротивления, сминают слабые заслоны и растекаются по оперативному простору. За ними идут бронетранспортеры с пехотой. Десятки истребителей и бомбардировщиков проходят над ними, и там, где враг не сдается, его смешивают с землей. Полная и окончательная победа, Ватерлоо наших дней! Торжество…»

Петер захлопнул панку. Шикарная кожаная папка, богатое тиснение, надпись: «К докладу». Это чтобы генералы не испытывали отрицательных эмоций, осязая ее. Тисненая кожа ласкает холеную кожу генеральских ладоней куда искусней, чем плебейский картон. И эти мягкие кресла… Как там у Вильденбратена? «Понимая Отечество прежде всего как зеленое бархатное вместилище для собственного зада, пекутся, разумеется, о пользе его и процветании…»

Вошел Шанур и кинулся к Петеру чуть ли не с объятиями.

— Наш майор вернулся! — заорал он, и Баттен подскочил на койке и сел, озираясь.

— Тьфу, черт, — сказал он наконец. — Приснится же такое! Майор — это хорошо… — Он лег к стенке лицом и снова уснул.

— Ты чего это так обрадовался? — спросил Петер, в общем-то польщенный такой встречей.

— Как — чего? — удивился Шанур. — Просто хорошо. Ну и работа… тоже…

— Пойдем наружу, поговорим, — сказал Петер.

— А снайперы? — напомнил Шанур.

— А «Трех мушкетеров» ты читал? — в свою очередь напомнил Петер.

— Понял, — сказал Шанур. — Тогда я поведу.

Он привел Петера на монтажную площадку, к подножию покалеченного бомбами подъемного крана. Кран этот просто оттащили в сторону, чтобы не мешал. На его месте уже стоял новый. Петер и Шанур забрались по лесенке в кабину крановщика, прикрытую со всех сторон броневыми щитами, и там расположились.

— Христиан, — сказал Петер. — Я не буду вызывать тебя на откровенность и так далее, я просто хочу тебя предупредить: ты под очень серьезным подозрением у этого черта. Ты брал на складе больше лент, чем сдал отснятых. Как будем оправдываться?

Шанур молчал, покусывая губу.

— Десяток лепт я могу взять на себя: после той бомбежки, сам понимаешь…

— Не получится, — сказал Шанур. — Я тогда подобрал и вашу камеру, и сумку.

— И сдал?

— Не все.

— Что оставил?

— Ту ленту, которая была в камере. И еще наугад две из сумки. Больше не смог.

— Понятно… Значит, так. Подашь мне рапорт. Примерно так: об отчетности за пленку предупрежден мною не был. Потому выбрасывал испорченные ленты. Напиши, что камера рвет перфорацию. Камеру отдай Баттену, пусть покопается. Теперь об ответственности предупрежден, будешь сдавать все ленты независимо от их состояния. Понял?

— Но как же тогда?..

— Что-нибудь придумаем. Да и сданные они не пропадут: часть пойдет на эту стряпню, а остальные — в архив, и там будут храниться, пока…

— Да нет же, — перебил Шанур. — Нет же, нет! Их уничтожат сразу, понимаете, сразу, как только фильм будет сделан!

— Откуда ты знаешь?

— Я подслушал. Они меня не заметили, и я все слышал, что они говорили.

— И ты решил сделать собственный фильм?

— Я решил сохранить правду обо всем этом.

— А ты знаешь, например, что делают с солдатами, у которых находят дневники?

— Знаю. Но ведь дневники продолжают находить!

— Где ты их прячешь?

Шанур помедлил, и Петер вдруг остро захотел, чтобы он ничего не сказал, не выдал тайника, потому что… потому что это подрасстрельное дело, а так — не знаю, и все… Он чуть не сказал: «Молчи!», но не сказал почему-то, и Шанур, облизнув губы, прошептал ему на ухо:

— Под стапелем, возле самой крайней опоры, справа — там яма…

— Тебя никто не видел? — тоже шепотом спросил Петер.

— А я сам и не кладу, — сказал Шанур.

Петер посмотрел на него. Лицо Шанура было серьезно, губы упрямо сжаты — хорошее лицо…

— Ладно, — сказал Петер. — С пленкой мы что-нибудь придумаем. У Баттена такой бардак в учете… А рапорт напиши, и послезливее: мол, ничего не знал, не хотел, простите на первый раз… Изобрази испуг.

— Чего уж тут изображать, — сказал Шанур тихо. — Все нутро — как овечий хвост…

Вторая киногруппа прибыла не завтра утром, как ожидали, а сегодня вечером. Над Плоскогорьем стояла сплошная облачность, лили дожди, самолеты не летали, ездить стало можно в любое время суток. Петер смотрел, как они выгружаются: два десятка человек, пять машин, в том числе автокран для съемок сверху, стационарные камеры, прожектора, десятки контейнеров и ящиков — короче, народ серьезный. Господин Мархель отвел в сторонку режиссера и что-то ему втолковывал. Среди этих двадцати было несколько девочек, и Баттен уже крутился среди них. Баттен никогда не упускал ни малейшего шанса.

Шанур тронул Петера за рукав, кивнул головой в сторону:

— Поговорим? Они пошли рядом.

— Саперы просили меня тебя привести, — сказал Шанур. — Познакомиться. Пойдешь?

— Просили? — усмехнулся Петер. — Ну, раз просили, то пойду. Ты мне вот что скажи: ты Арманта давно знаешь?

— Давно, — сказал Шанур. — Вместе жили, вместе служили, вместе в офицерскую школу попали, вместе — на курсы операторов, вместе — сюда. А что?

— Что он представляет из себя?

— А ты еще не понял?

— Да как сказать…

— Без лести предан.

— То есть? — не понял Петер.

— Это девиз был какого-то государственного деятеля — «Без лести предан». Вот и Ив — без лести предан. Понятно?

— Понятно. А если он узнает, что ты делаешь, как поступит?

— Не знаю. Думал над этим, не знаю. Не могу представить себе, что донесет, выдаст, и не могу представить, что смолчит. Не знаю.

— Но ты же бываешь с ним откровенен?

— Откровенен — не то слово. И потом, я бываю с ним открыт только мыслями, а это он допускает… инакомыслие он допускает… Думать можешь, что хочешь, это твое личное дело, а вот поступки твои должны быть лишь на благо Императора. Диалектик Ив…

— А почему ты разоткровенничался со мной?

— А почему вы считаете, что я с вами откровенен? Петер усмехнулся, но промолчал.

— Впрочем, да, — сказал Шанур. — На один расстрел, как минимум, я уже наболтал. Тайник — это… да… Но опять же: а может быть, никакого тайника нет, а я проверяю вас по поручению господина Мархеля? Проходит этот вариант?

— Проходит, — сказал Петер.

— Вот видите. Мы примерно в одинаковом положении — в одинаковом и одинаково безвыходном. Нет никаких гарантий, что ты разговариваешь не с агентом контрразведки. Нельзя доверять даже интуиции, нельзя доверять своим впечатлениям — они ведь выманивают на себя твои симпатии. Но снимать под бомбами ни один контрразведчик не стал бы — у них другая профессия. А вы снимали. Да еще то, что заведомо не войдет в фильм. И я понял, что могу вам доверять. Правда ведь, могу?

Петер опять промолчал.

— Могу, — сказал Шанур. — Только не бойтесь, я не намерен втягивать вас в свои дела («Уже втянул», — подумал Петер), я просто хочу познакомить вас с народом…

Знакомство с народом затянулось чуть не до утра. Сначала была скованность, не снимавшаяся даже шнапсом, — впрочем, шнапса было мало, только понюхать, — но потом заговорили о работе, Петер — о своей, саперы — о своей, как они с Юнгманом строили мосты и рвали мосты, и что это за человек был — Юнгман, хороший человек и инженер прекрасный, божьей милостью инженер, да вот напоследок, видать, взялся за безнадежное это дело, где это видано: одним мостом войну выиграть? Теперь вот Ивенс вместо него — нет, с этим каши не сваришь, ни одного слова у него своего, все заемные, да и ни черта он в нашем деле не понимает, пыжится только. Достраивать — надо достраивать, конечно, столько сил в это дело вломили; нет, надо до конца доводить, только переделать бы кое-что маленечко, потому как не выдержит скала, простым глазом видно, что не выдержит; а надо лебедки перенести метров на двести — триста от края, да рассредоточить по площади, да не в линию ставить, тут Юнгман маху дал, — и тогда хоть сейчас на этот чертов мост танки выводи — выдержит! Лишь бы ванты не полопались, а прочее выдержит. А ванты — что ванты? Добавить, сколько надо. И все. А попробуй скажи. Копитхеер говорил — а где он сейчас? Ага! Генерал же ни черта в нашем деле не понимает, да и откуда ему что понимать — пехота! А этот… черный?.. Это же ужас ходячий, и откуда только такие берутся? Генерала, говорят, в горсти держит, пикнуть не дает — правда это? Ну, вот… Руководит тут всем, а мосты до того, наверное, на картинках только и видел. Ни черта хорошего из этого не получится, помяните мое слово. Завалится сволочной этот мост, и мы в виноватых-то и окажемся. И в дураках, и в виноватых — во радость-то! Так что, майор, слушай нас да на ус мотай, чтобы потом нас от дерьма хоть посмертно отмыть. Христиан хорошее дело замыслил — рисковый парень, а все равно молодец. Конечно. А за что их любить, этих рисковых? Рискуют обыкновенно те, кому думать нечем или когда за душой ни черта не осталось. Не-е! Христиан — парень душевный, и наше ему понимание, он с открытыми глазами на риск идет. Понимание, помощь и уважение. А верно говорят, что теперь нас артисты изображать будут? Ну и плевать. Пусть там хоть раздрыгаются — а наше дело строить, верно, братва? Нет, ясно, что обидно. Я только к чему? Пусть они там хоть черта голого снимают, а правда-то — вот она, под камушком! И рано или поздно она из-под камушка-то выскребется… Да, что поздно, то поздно — да и так нынче-то правда не в чести, так уж пусть ее полежит. Подрасстрельное это дело — правда. Что молчишь, майор? Нет, скажешь? То-то и оно.

Подхваченный темой, Петер рассказал о веселом парне Хильмане, у которого было три тысячи друзей, и как он был убит одним из тех, кого называл и считал другом, и как в госпитале, где кололи наркотики, ему раз почудилось, что Хильман пришел, присел на край постели и сказал, что теперь он обходит всех своих друзей и требует доказательств дружбы — хотя бы раз в жизни, и что все теряются и не знают, что сказать, и он сам тоже растерялся и не знал, что за доказательство можно представить, лежа в госпитале, да еще под уколом, тогда Хильман посмотрел на него очень укоризненно и сказал, что зайдет в другой раз. Все стали обсуждать этот случай, перекинулись на толкование снов вообще и сексуальных в частности, на этой почве вспомнили, что в сегодняшней киногруппе были девочки и что этого так оставлять нельзя, господь не простит, если это так оставить. Подумать только — почти год безвылазно тут, на этом невыразимом Плоскогорье, пока дорогу пробивали, пока основные сооружения ставили — и ведь ни одной юбки на триста километров вокруг! Поглядеть не на что, не говоря уж о прочем! Потом вдруг резко и матерно перекинулись на минометчиков, век их тут не видеть, дармоедов вонючих, к ногтю бы их, спекулянтов, — жаль, устав не позволяет…

А вообще, майор, чтоб ты знал, — саперная служба на войне самая благородная. Медицина? Н-ну… тоже, пожалуй, в один ряд можно поставить. Потому как саперы убивать не обязаны. Нормальная мужская работа у саперов — земля, бревна, камень, железо, бетон. Вот только мины — это да. С минами возиться он как хреново. Что снимать, что ставить. А еще плохо проволоку резать. Юнгман нам цену знал, потому и берег нас, тратить задешево не давал. Наш полк хоть особым и не назывался, а считался. Так, как мы, никто больше не может. Нет, никто. Укрепрайон за сутки — не можешь представить? И правильно, что не можешь, мы вот тоже не могли, пока не сделали. Но вот с этим мостом мы, чувствую, того… сядем. Если не опомнится начальство, то сядем.

А хороший мост мог бы получиться! В мире никто такого не делал. Его же сейчас чувствуешь, как родного — как ему худо сейчас. Вон Карел как на самолеты кинулся! Это когда тебя, майор, ободрало всего. Ох, и красив ты был! Зажило хоть? Ну и слава богу. Так Карела вчетвером от его пушки отрывать пришлось, а потом еще спиртом отпаивать. Взбесился мужик — столько сил вложено, а они поломать хотят! Вон, смеется, а тогда — взгляд дикий и орет не поймешь что. Великое это дело — когда что-то потом полито. Надежней, чем кровью. Кровь — она по разным причинам течь может, и вообще… А пот — это честно.

Так ты, слушай, заходи к нам, не стесняйся, нас стесняться нечего, а то ты все издали да пошире, а чтобы поближе подойти да как есть, в подробностях, отобразить — так что Христиан только, да и то не сразу. Нам-то, знаешь, такими штучками баловаться невозможно, когда это Хизри расстреляли — с месяц назад? Понимаешь, нашли у него блокнот, весь по-арабски исписанный; Хизри хоть и клялся, что это он стихи сочиняет, а только проверить-то никто не мог, вот и прислонили Хизри. Хороший был парень, потому и не уберегся. Так что на вас вся надежда, потому как обидно бы вышло, если про нас тут всяких сказок насочиняют или еще чего похуже. А насочиняют, гады, это уж как пить дать. Артистов вон понаехало… Слушай, майор, а ты не обижаешься, что мы с тобой по-простому? Ну и правильно. Да и вообще — вон Христиан о тебе очень хорошо говорил, а под бомбами ты держишься как полный фронтовик, да и то сказать — ты же не по тылам груши околачиваешь, верно? И стрелять небось приходилось? Ну, значит, правильно мы тебя понимали. Так что захаживай к нам, не стесняйся, не забывай, а если что надо, так только мигни — мы со всей душой… И еще, майор… это… как бы тебе сказать… Студента нашего и старшину — это при тебе было? Ну и?.. Понимаешь, поговаривают, что все это этот ваш черный подстроил, нет? Ты не молчи, майор. Ты скажи: за дело их прислонили, по прайде? Говори! Молчишь… Ну, понятно. Спасибо, что не соврал. Значит, правду говорят. Что за власть такую этот черный над генералом взял? Ну, ясное дело, знай генерал, что все подстроено, он бы не допустил. Какой ему резон саперов за хрен собачий в расход пускать? Нас и так на треть поубавилось, вон кладбище какое уже. Тебе про эпидемию рассказывали? Тиф у нас тут свирепствовал. Все переболели. Нет, а что генерал? Генерал — порядочный мужик. Бурку вон ему свою подарил. Правильный генерал. Сделал дело — молодец, нет — получи, что положено. В саперном деле бы кумекал — цены бы генералу не было. Да, Юнгман был, и дело шло. Хотя без генерала и Юнгману бы туговато пришлось. Машины грузовые, машины саперные, бульдозеры — а солярка для них? А цемент, а профиля, а трубы — попробуй достать! А генерал — он все мог. Вечером Юнгман скажет — утром уже все есть. Нет, генерал в этом отношении молодец. И не мешался в дела. Так, изредка, для порядку. Нет, можно было работать. А что дальше будет — ох, черт его знает. Как себя новый инженер поставит? Что-то хлипковат он. Ну, да время покажет. Может, обкатается…

Остаток ночи Петер провел без сна. Запасся сном в госпитале— отоспался за всё предыдущее и на две недели вперед. Он отлично понимал теперь, что именно происходит, но предугадать дальнейшее не мог, хотя и знал сценарий. По сценарию дальше должны быть диверсанты. Причем все события должны происходить перед камерой. Объясните мне, бога ради, как именно! Я не желаю быть пешкой в этой вашей грязной игре! Я не желаю!

Но кроме этого «Я не желаю!» у него ничего не получалось.

Мост строился так: на тыловых базах накоплены были запасы стальных профилированных балок; тяжелыми грузовиками их доставляли на промежуточную монтажную площадку километрах в ста отсюда и там сваривали отдельные звенья фермы моста. Делалось так потому, что в непосредственной близости от моста сконцентрировать такие производственные мощности было невозможно по вполне понятным причинам. На монтаж доставлялись готовые уже звенья. Здесь их сгружали с трейлеров и сортировали: звенья были пяти различных типов — «Антон», «Берта», «Цезарь», «Дора», «Ева» — и на монтаж должны были поступать в этой последовательности. С сортировочной площадки звенья подавались на стапель, здесь кранами стапеля звено подводилось к торцу фермы и стыковалось с ней специальными стыковочными муфтами, в зависимости от типа фермы этих муфт было от шестнадцати до тридцати шести. Затем в дело вступали сварщики. На монтаж одного звена уходило около двух часов, за это время ферма сдвигалась вперед на четыре метра, и освободившееся место занимало следующее звено. На выходе со стапеля к звену присоединялись тросы, лебедки подтягивали их и принимали тяжесть звена на себя. Все эти операции были тщательно скоординирова-

ны и синхронизированы, но в любой сложной системе обязательно случаются сбои, потому и нужен руководитель. Пока был Юнгман, все шло как по маслу, никаких сбоев не было, то есть были, но ликвидировались моментально. Юнгман шестым, седьмым, десятым чувством предвидел, где его вмешательство будет сейчас необходимо; он придумал, выстрадал и вынянчил этот мост, знал его досконально и потому мог все. Он владел этим мостом, как музыкант-виртуоз владеет великолепным, но чрезвычайно капризным инструментом, — все видят, что инструмент великолепен, и никто не замечает, что он капризен. Ивенс же был просто грамотным помощником Юнгмана. Он знал, что мост должен выдвигаться со скоростью два метра в час, знал, что таким именно темпом, если не считать аварий и бомбежек, и были пройдены все семьсот шестьдесят пять метров, и никак не мог понять, почему это теперь вдруг приходится то и дело останавливать масляные насосы, почему на одно звено уходит когда восемь, а когда и шестнадцать часов. На промежуточной площадке что-то напутали со спецификацией, и звеньев «Антон» оказалось в избытке, потом на звеньях «Дора» стала появляться маркировка «Ева», а потом прислали несколько «Берт» в зеркально-симметричном исполнении, и это вообще не лезло ни в какие ворота. Там им тоже досталось от бомбежек, но надо ведь понимать!.. Студент тем и ценен был, объяснял Петеру тот сапер с рубцом во всю щеку, Карел Козак, что сразу различал звенья безо всякой маркировки, он на сортировке и стоял, что годное было — в дело шло, что с брачком — в отвал. А теперь что же: подцепляем, начинаем стыковать — не стыкуется. Назад его, тащи другое, а этому очередь еще только через три-четыре подойдет, все разгребай теперь, — какой тут порядок будет и какой темп? А стыковочные муфты эти несчастные? Их же десять типов! И не дай бог одного не окажется — приплыли! Как тут Юнгмана добрым словом не помянуть? Да что говорить — и нервы сдают, работаем, как разлаженные…

Нервы сдавали у всех. Инженер Ивенс сатанел на глазах. Он крыл саперов саботажниками и вредителями, лез во все операции и, наверное, еще больше все запутывал. Он орал, хватался за пистолет, угрожал пистолетом и наконец выстрелил в сапера, который настолько осатанел от тупости начальства, что стал этому начальству доказывать, что оно не право. Инженер не попал в сапера: его ударили по руке, пуля ушла в небо. Потом у него отобрали пистолет и долго били морду. С набитой мордой он пошел к генералу жаловаться. Саперов арестовали и увели. С тех пор инженер Ивенс мог ходить по стройке только в сопровождении автоматчиков из комендантского взвода.

На следующий же день он ввел новый порядок: офицеры, помимо прочих своих обязанностей, должны были вести постоянный хронометраж работ — кто из саперов сколько времени тратит на ту или иную операцию. Если сапер выходил за рамки установленного для этой операции времени, ему уменьшали паек; если такой выход за рамки был систематическим или особенно большим, сапер подлежал трибуналу как саботажник. Сам же он, Ивенс, контролировал офицеров. Офицер, исполняющий обязанности хронометриста недобросовестно, также подлежал суду трибунала — за покровительство саботажу.

Темп работ несколько возрос: офицеры из кожи вон лезли, чтобы хоть как-то добиться синхронности операций. Инженер Ивенс выше задрал подбородок.

Зарядили осенние дожди, липкие, бесконечные, стало почти холодно и очень сыро. Шанур пропадал у саперов, и Армант исчезал, и именно в те моменты, когда был особенно нужен. Заглядывал господин Мархель, интересовался, нет ли недостачи метража, и, узнавая, что нет, удивлялся.

Бог его знает, по какому поводу их в тот вечер пригласили зенитчики, — они сказали, по Петер забыл. Вечеринка она вечеринка и есть, что по поводу, что просто так. Приглашали и ту, вторую киногруппу, те приглашение приняли, ио не пришли. Вообще они с самого начала повели себя странно, как-то свысока, с этакой брезгливостью-брюзгливостью, и Петер, раза два наткнувшись и а высокомерное хамство, решил с ними больше дела не иметь — за исключением производственной необходимости. Зенитчики же, не зная всего этого, ждали их и обиделись, и вечеринка прошла комом. Операторы тащились домой, дождя не было, и даже тучи стали редеть — в разрывы их изредка проглядывала половинка луны. Насторожило Петера то, что их не окликнул часовой. Не могло такого быть, чтобы часовой на КПП не окликнул идущих по дороге.

Петер, разведя в стороны руки, остановил своих операторов, молча уложил их на дорогу, а сам, пригибаясь, подкрался к грибку часового. Часового под грибком не было. Не раздумывая ни секунды, Петер рванул шпур сигнала тревоги — и шнур остался у него в руке. Это уже было серьезно.

Он вытащил пистолет и загнал патрон в ствол. Затвор щелкнул непозволительно громко. Надо было хотя бы стрельбой дать сигнал тревоги, но Петер почему-то медлил. Вся эта ситуация была уж слишком знакома, слишком знакома… Вот сейчас мелькнут неясные тени, — слишком знакома, потому что я читал это в сценарии, но там был часовой, — неясные тени или мне это мерещится?.. И тут с ужасающим шипением взвилась осветительная ракета.

Все осветилось резчайшим лиловым светом, проявляющим и фиксирующим на дне глаза все мельчайшие детали, неподвижные или, не дай бог, движущиеся. Петер мгновенно увидел все сразу: сапоги часового, торчащие из канавы, и изгиб дороги, и своих орлов, лежащих на самом видном месте, и троих в маскхалатах, ныряющих в лощину метрах в сорока… Он не помнил, как и откуда оказалась в руке граната, когда это он успел переложить пистолет из правой руки в левую и достать из сумки гранату, но он успел бросить ее еще до того, как последний из тех, в маскхалатах, нырнул в лощинку, — Петер видел, как граната медленно, оставляя за собой ниточку дыма, описывает плавную кривую и ныряет следом за теми тремя… Каким-то образом взрыв гранаты не зафиксировался в его памяти, он просто знал умом, что она взорвалась, но и вспышка, и звук взрыва мелькнули мимо, как нечто необязательное, и следующее, что Петер отметил, — это себя, летящего с пистолетом в руке к этой лощинке, не было ни ног, стучащих по земле, ни вообще ощущения бега — был полет, стремительный и беззвучный, — Петер увидел, как там, на противоположном краю лощинки, облитая светом, судорожно рвется вверх бесформенная фигура, мокрые склоны скользили, как мыло, — Петер выстрелил и попал, фигура переломилась и стала падать… Ракета догорела и погасла, на мгновение наступила темнота, а. потом завыла сирена и стали взлетать новые ракеты — много и отовсюду, и стало плохо видно, потому что пропали тени. В этом бестеневом, а потому полупризрачном мире было очень шумно: стреляли, кричали непонятное, и сирена выла, не заглушая, а почему-то выделяя, подчеркивая все иные звуки — они будто взмывали на ее волнах, зависали и падали вниз во множестве, острые и груборельефные, как битые кирпичи; к Петеру бежали люди и тоже кричали, а он стоял и не мог стряхнуть с себя оцепенения. Все, что произошло, — произошло, но произошло будто не по его воле и почти без его участия, произошло по сценарию и было заранее знакомо и потому воспринималось как повторный сон.

Ракеты наконец погасли и сирена смолкла. При свете фонариков осмотрели убитых. Граната попала одному из них в голову, понятно, что осматривать тут было нечего. Другого посекло осколками, тронув притом и лицо. Третий, видимо, оказался довольно далеко и от гранаты не пострадал; пуля попала ему в шею, потому он и повалился, как тряпичная кукла. Петер посмотрел ему в лицо, повернулся и стал выбираться из лощинки. Мокрые склоны скользили, как мыло, и на секунду его обуял ужас — сейчас сзади выстрелят! Не выстрелили, подали руку — это оказался Шанур. Петер огляделся. Армант с камерой стоял шагах в десяти и смотрел вниз.

— Он все снимал? — спросил Петер.

— Да, — сказал Шанур. — Кажется, все.

— Ты видел, кто это? — спросил Петер тихо.

— Да, — сказал Шанур.

— А он, значит, все это снимал… Ясно, — сказал Петер, хотя ясного ничего не было.

Они прошли мимо группы солдат, поднимающих носилки. На носилках, прикрытый шинелью, кто-то лежал. Петер подошел, приподнял край шинели. Ему посветили. Лицо лежащего было спокойно, рот чуть приоткрыт — будто собрался человек что-то спросить, но не успел.

— Чем его? — спросил Петер.

— Ножом, — сказали ему. — В спину. Сзади.

— Снимайте! — со злостью сказал еще кто-то. — Все, все снимайте! Кости свои начнем глодать — тоже снимайте!

— Друг это его, — объяснили из темноты. — Так вот получилось.

— Не обижайтесь, — сказали еще. — Бывает.

— Пойдем, — сказал Шанур. Голос у него был нехороший, сдавленный. — Пойдем, не могу я…

Они отошли оттуда, от чьей-то беды, от рыскающего света фонарей, от голосов. Ровный свет половинки луны освещал дорогу, по которой они шли.

— Хоть ты-то что-нибудь понимаешь? — вдруг рыдающим шепотом спросил Шанур. — Хоть ты-то понимаешь? Или это я с ума схожу? Ну что ты все молчишь и молчишь? Что это все значит?!

Петер молча достал из кармана пистолетную пулю — ту самую, которая должна была попасть Шануру в голову, но не попала, только задела краешек уха.

— На, — сказал он. — Пользуйся.

Шанур резко остановился. Петер тоже остановился и ждал.

— Так ты… знал? — выдавил вдруг из себя Шанур.

— Пойдем, Христиан, — сказал Петер. — Пойдем. Не могу я больше. Ноги не держат.

— А как же тогда часовой? — спросил Шанур. — Часового-то они… как? Они ведь его ножом, понимаешь?

Петер взял его за руку, за кулак, в котором была зажата пуля, и еще крепче сжал ему пальцы.

То, что Петер называл потерей плотности, продолжалось. Это становилось даже страшновато, особенно после того, как Петер, задумавшись, прошел сквозь закрытую дверь. Приходилось специально контролировать себя, старательно соблюдая единство сознания и плоти, чтобы ненароком, оставаясь видимым, не пройти сквозь кого-нибудь. Такое уже случалось с ним и раньше, и не только с ним, но, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, на короткие моменты особого увлечения работой; сейчас это заходило слишком далеко. Впрочем, Армант оставался почти прежним; Шанур, напротив, временами почти исчезал, приходилось напрягать зрение, чтобы его рассмотреть. Петер еще более-менее держался, но для сохранения осязаемости приходилось прилагать усилия.

На следующий день после истории с диверсантами Петер имел серьезный разговор с господином Мархелем. Иначе говоря, Петер потребовал объяснений — и он получил объяснения.

— Ваша беда в том, подполковник, — сказал господин Мархель, — что вы не пытаетесь даже толком понять великое мистическое единство факта и его истолкования. Видите ли, деяние, вещь ли, идея ли — короче, любая объективная реальность — не воспринимаются нами в чистом виде, а только и исключительно посредством переложения их в знаки. Предмет никогда не совпадает со своим изображением, это бесспорно. Вот перед нами настольная лампа зеленого цвета. Мы с вами смотрим на нее, и я говорю:

«Это настольная лампа, у нее конической формы абажур зеленого цвета, а подставка круглая, из покрытого серой эмалью чугуна». Кажется, я все сказал, и вы меня поняли. Но я нисколько не сомневаюсь, что и форму ее, и цвет мы воспринимаем по-разному, просто мы привыкли и договорились между собой, что вот этот цвет — а каждый из нас видит, разумеется, свой цвет — называется серым, а вот этот — зеленым, а вот эта форма — а каждый видит ее по-своему — называется конической, ну и так далее. То есть я, видя нечто, своими словами передаю вам не истинную информацию об объекте, а те условные знаки, которыми и вы, и я привыкли обозначать то или иное качество предмета. Известно, в Китае на Севере и на Юге говорят на совершенно различных языках, и одни и те же иероглифы они называют и произносят по-разному, но каждый иероглиф и там, и там обозначает один и тот же предмет, или качество, или действие. Ну а теперь предположим, что мы начнем внедрять в Китае фонетическое письмо — конечно, мы не начнем, стоит ли возиться, не так ли? — но предположим; предположим, что мы запишем, скажем, фразу «Мандарин пьет чай на веранде своего дворца», произнесенную северянином, латинскими буквами, и дадим прочитать ее южанину. Тот, конечно, ничего не поймет. Но если мы предоставим ему достаточно длинный текст, изображенный латынью, и одновременно тот же текст в иероглифах, он сможет — при достаточном, конечно, интеллекте — составить некий новый словарь и далее понимать тексты, написанные на Севере латынью. Однако ту же фразу, написанную латынью на Юге, он понять не сможет! Понимаете? Появление так называемых иероглифов второго порядка — а именно таковыми становится в этом случае латынь — резко снижает адаптивность знаковой системы, хотя, на первый взгляд, должно быть наоборот, не так ли? Вот и у нас: мы должны, даже не должны, это слишком слабое слово, наш святой долг не допускать засорения исторически сложившейся знаковой системы никакими новыми, вторичными иероглифами. То есть каждое событие, имевшее место в действительности, должно быть отражено абсолютно однозначно! Абсолютно! Я думаю, не следует объяснять вам, вы и так умный человек, к каким потрясающим основы последствиям приведет появление так называемых информационных вилок. Поэтому мы должны предусматривать все. Любые происходящие события должны быть нами зафиксированы, и потому лишь события, нами зафиксированные, должны остаться как имевшие место в действительности. Только они и могли иметь место! Допустим, нам не удалось бы зафиксировать на пленке момент выстрела в инженера Юнгмана, но тогда мы должны были бы найти материал, адекватно заменивший бы этот информационный проляпс. Нам не удалось зафиксировать на пленке попадания бомб в стапель; следовательно, появление материала о том, что стапель поврежден и работы приостановлены, нарушает всю имеющуюся знаковую систему и ведет к неоднозначному толкованию, о котором я только что говорил. Более того: раз противнику удалось нанести прицельный удар — значит, вся система ПВО района не так эффективна, как было ранее объявлено. Вот вам еще одна информационная вилка. К счастью, нам доступен монтаж, но разрушение электростанции надо же как-то пояснить — поэтому и было решено использовать актеров в роли диверсантов. Сцена получилась превосходная, я уже смотрел. Вас, правда, придется вырезать, гранату кинет офицер-кавалергард, но мотивы этого, надеюсь, вы понимаете? Не сомневался в вас. Сегодня вечером съемки в штабе, в сценарий пришлось внести некоторые изменения.

Господин Мархель кинул на стол папку со сценарием и вышел, а голос его еще долго продолжал звучать в помещении: «Появление различных истолкований одних и тех же событий, а тем более появление информации о событиях, которые по каким-либо причинам произошли, хотя и не были предусмотрены сценарием, породит неуправляемую цепную реакцию расфокусировки точности знания о событиях, подорвет у населения доверие к официальным сообщениям, более того — к самой политике правительства! Разумеется, это произойдет не сразу, но пусть через двадцать, пусть через пятьдесят лет — ведь страшно представить себе, что будет, если сомнению подвергнутся хотя бы некоторые положения официальной истории! Нас ведь могут заподозрить даже в намеренной лжи! Более того, ведь если отдельные моменты истории вызывают сомнения, то можно ли доверять всей истории? Поэтому следует прикладывать неослабевающие усилия, дабы предопределить невозможность появления и сохранения подобной информации…»

Изменения в сценарий были внесены значительные. Во-первых, следовало снять прибытие киногруппы — той, со студии. Во-вторых, офицер контрразведки, которого играл сам господин Мархель, получал данные о том, что это не настоящая киногруппа, настоящую вырезали ночью во время ночевки в гостинице в том самом городке по дороге сюда. Офицер производил арест лжекиношников и завербованных ими офицеров-саперов, но оказывалось, что три диверсанта успели скрыться и начать осуществлять свой злодейский замысел. Офицер в одиночку бросался в погоню и осуществлял ликвидацию диверсантов посредством гранаты. Тем не менее предотвратить взрыв электростанции он не успевал, электростанция взрывалась и пылала, и офицер, бессильно сжимая пистолет в руке, стоял на фоне зарева и клялся быть беспощадным ко всем на свете врагам Императора.

Дальше шел суд над диверсантами — теми, кого удалось схватить, и саперами-предателями. С диверсантами все было ясно: это были специально подготовленные, хорошо тренированные и обученные враги, солдаты пусть не самой почетной, но нормальной военной специальности. Труднее было понять психологию предателей. Ведь они шли на смертельный риск — зачем? Что двигало ими? Неужто только страсть к наживе? А если нет — то что же? В этом и предстояло разобраться.

— Вот вы, например, как вы могли, офицер, присягавший на верность Императору, пойти на такое, стать на путь предательства?

— Да, я присягал на верность, но я не был искренен при этом. Это была маскировка. Я ждал, я долго ждал, когда же представится случай нанести ему вред посущественней. И вот я дождался. Очень жаль, что замысел наш сорвался, но я знаю, нас немало еще на свободе, и никто и ничто не помешает нам — моим друзьям и единомышленникам — совершить задуманное…

— А вы?

— Я всегда выступал против войны. Я пацифист, и горжусь этим. И если мне удалось хоть на несколько дней отсрочить новое массовое смертоубийство, то моя жизнь и деятельность не были напрасными.

— Ну, а вы что скажете?

— Они узнали, что моя семья на оккупированной территории, **и** пригрозили убить их всех, если я не соглашусь сотрудничать.

— Л вы?

— Я желаю поражения Империи в этой войне. Я сожалею, что мы сделали так мало.

— Почему вы желаете нам поражения?

— Потому что Император обманул народ, пообещав немедленное и всеобщее благоденствие, а сам даже и не подумал выполнять обещание. Он и войну эту затеял только для того, чтобы было чем объяснять трудности…

— Итак, господа, мы с вами видим, что это за люди, которых противник пытается использовать в своих целях. Среди них нет тех грубо-продажных тварей, которые так обычны среди всякого рода предателей. Нет! Мы имеем дело с убежденными, отъявленными врагами, в крайнем случае — с людьми, вставшими на стезю предательства по слабости духа. И, как мы поняли, еще многие такие же, как и они, ходят на свободе, общаются с нами, изображают бурную деятельность на благо Императора, а между тем только и ждут момента, чтобы ударить ножом в спину. Бдительность, только бдительность спасет нас, тотальная и напряженная бдительность! Доносите о своих малейших подозрениях, о странном поведении известных вам лиц, о неясных доходах, о враждебных Императору разговорах, о проявлении недовольства — ибо от недовольства прямая дорога к предательству! — и даже о шутках, потому что ничто не искажает правду так, как шутка. Будьте бдительны изо всех сил! А с этими предателями будет содеяно то, что они заслужили.

Петер сидел еще над сценарием, когда вновь вошел господин Мархель, на этот раз в форме полковника кавалергардов. В руке его была пачка исписанных листков.

— Снимайте, — сказал он. — Офицер контрразведки разбирается с донесениями.

Он сел и разложил листки перед собой. Петер выправил свет, снял господина Мархеля анфас, в профиль, зашел за спину и через плечо заглянул в бумаги. Это были доносы: много доносов, написанных разными почерками и напечатанных на машинке, на бумаге простой, линованной, газетной, на развернутой сигаретной пачке и на куске грубого солдатского пипифакса. Петер запечатлел этот эпистолярный вернисаж, а потом продолжил чтение поверх камеры.

Доносы были, как правило, на офицеров. Господин Мархель, перекладывая их с места на место, как пасьянсные карты, бормотал нечто нечленораздельное, но вполне удовлетворенное.

— А вот и на вас есть, — сказал он Петеру, протягивая тот самый пипифаксный листок. — Разговоры ведете подрывные и неуважение к начальству позволяете.

— Позвольте… — Петер взял листок, прочитал: «Довожу до Вашево свединья, что Майор Миле каторый с кином ходит визде гаварил что, Генерал Наш челавек недалекий и ничиво в деле Сапернам нпкумекает и что Гаспада Артисты нас Саперав разыгрывать будут и пиреврут Все как никагда ни быват. Остаюсь При-сем ПРИСЯГЕ Вернай Сапер и Кавалер».

— Однако, — сказал Петер. — Вот и я в подрывные элементы угодил. Будет делу ход?

— Разберемся, — рассеянно сказал господин Мархель.

Он еще позабавлялся перекладыванием бумажек, потом повернулся к Петеру.

— Вот вам еще одно доказательство моей правоты, — сказал он. — Ведь арест диверсантов и предателей еще не произведен, а посмотрите, как народ отреагировал на эту готовящуюся акцию! Поток разоблачений! И это только за один день! А дальше — о! Нет, с таким народом нам нечего бояться!

— Подождите, — сказал Петер. — Арест киногруппы — это на самом деле фальшивая киногруппа или?..

— Подполковник, — укоризненно протянул господин Мархель. — Я ведь все утро потратил, растолковывая вам положение вещей. Это та киногруппа, которая требуется по сценарию. Понимаете? По сценарию требуется, чтобы киногруппа оказалась фальшивой, следовательно, она и есть фальшивая. Нельзя допустить, чтобы образовалось какое-нибудь двоякое толкование, чтобы остались двусмысленности и недоговорки… недоговорения… недоговоренности. Наше дело — представить истину так, чтобы она была понятна и доступна даже младенцу, даже клиническому идиоту. А если для этого приходится идти на некоторые разъясняющие… м-м… трюки, то что же делать — специфика жанра… Вы поняли?

— Кажется, понял, — сказал Петер. — Но что будет с актерами?

— Не с актерами, а с диверсантами, — поправил господин Мархель.

— Но ведь это же вы сделали их диверсантами!

— Я? Что за чушь? Кто вам такое сказал? — Но ведь это вы пишете сценарий!

— Я пишу, но это не значит, что я выдумываю! Я просто расставляю те или иные события на места, им принадлежащие, и иногда даю необходимые объяснения. События, наблюдаемые без системы, могут производить впечатления стихийных — но в действительности нет никакой стихийности, а если события кажутся нам стихийными, это значит только, что мы не сумели разобраться в системе, ими управляющей. И если я проник в эту систему, я могу предвидеть и прогнозировать события с бесконечно большой точностью! Что я и делаю! Если я обладаю даром предвидеть и прозревать события, это вовсе не значит, что я их выдумываю. И если в системе сценария диверсанты — это диверсанты, то это действительно диверсанты! Сценарий — это теория, фильм — практика, а то, что происходит перед камерой, — это пластичный материал, из которого в соответствии с теорией создается практика — высший критерий истинности. Теперь понятно?

— Чума на оба ваших дома! — в сердцах сказал Петер, и господин Мархель тихонько заржал. — Меня там нигде не должны шлепнуть?

— Вы сценарием вообще не предусмотрены, — сказал господин Мархель. — Вы всегда находитесь по другую сторону камеры. Так что личная ваша судьба, разумеется, продолжается за рамки этого сценария.

— По другую сторону, значит, — сказал Петер. — Ладно…

— Только не делайте скоропалительных выводов, — предостерег господин Мархель.

Арест киногруппы прошел нервно: дважды прерывалась подача электроэнергии, и дважды приходилось начинать все сначала. Второй раз это было очень трудно сделать, потому что до этого поднялась стрельба и два тела — режиссера и осветителя — положили в сторонке, под брезенты. Случившиеся возле девочек саперные лейтенанты были разоружены и тоже взяты под стражу. Суд состоялся вечером.

Председательствовал генерал Айзенкопф в своем лысобритом варианте и почему-то под именем интендант-полковника Мейбагса. Господин Гуннар Мархель в своей кавалергардской ипостаси исполнял функции одного из двух помощников председателя суда. Вторым помощником был адъютант Айзенкопфа по особым поручениям майор Вельт.

Суд проходил единообразно. Вводили подсудимого, майор Вельт зачитывал формулировку обвинения, господин Мархель зачитывал приговор — смертная казнь посредством расстреляния, этого уводили, приводили следующего. Слова обвиняемым не давали; у некоторых рты были заклеены липкой лентой. Петер снимал, стараясь, чтобы все лица остались на пленке, — это было единственное, что он мог сделать для обреченных; он чувствовал, как во лбу, над глазами и позади глаз, скапливается тяжелая цементная тупость — как от большой усталости. Мысли сквозь нее не проникали. Броня, понял он. Толстенная лобовая броня. Только так и можно… Нельзя… жить можно только так… так жить нельзя…

Расстрел пошел снимать Шанур. Глаза у него были безумные. Шанура следовало предостеречь, но он ничего не слышал, то есть слышал, конечно, но не реагировал. Сам же Петер пошел снимать эпизод метания гранаты господином Мархелем.

Петер взял на складе три «орешка» — наступательные гранаты, не дающие осколков. Возле той самой лощинки Петер проинструктировал господина Мархеля, как обращаться с гранатами, и приступил к съемкам. Господин Мархель встал около грибка, Петер отошел к дороге — туда, где лежал Армант с камерой, — шарахнул в него осветительной ракетой и припал к видоискателю.

Господин Мархель перебрал ногами, как бы исполнив элемент некоего сложного бального танца, и, забыв выдернуть чеку, по-женски, из-за плеча, бросил гранату вперед — метров на пятнадцать. Петер сходил за гранатой, вернулся, очень спокойно повторил объяснения, еще раз все показал и прорепетировал движение, коим следовало гранату бросать, и вернулся на свое место.

Со второго раза более-менее получилось: господин Мархель не забыл выдернуть чеку и бросил гранату чуть дальше, правда, совсем не в том направлении. Пришлось переснимать. На взрывы сбежались саперы, поняли, что именно происходит, и стояли в отдалении.

Вторую гранату господин Мархель отбрасывал от себя, как змею, и Петеру пришлось быстро нырять в кювет, чтобы уберечься. Этот эпизод тоже не укладывался в сценарий, и пришлось продолжать съемку.

Он опять изготовился и пустил ракету. Господин Мархель, на которого гранатные взрывы произвели, видимо, сильное впечатление, долго не мог ухватить кольцо, наконец ухватил, вырвал чеку, но гранату не удержал, она выпала и покатилась по земле. Петер снимал. Он слышал тонкий визг, которым исходил господин Мархель, и видел, как стремительно темнеют его щегольские бриджи, и считал про себя: «Раз, два, три, четы…» — и тут рвануло. Петер повесил камеру на плечо и пошел подбирать начальство.

Наступательные гранаты не дают осколков. То есть осколки их настолько мелки, что и осколками-то считаться не могут — так, металлическая пыль. Но когда такая пыль с хорошей скоростью соприкасается со штанами… Господин Мархель был в обмороке. Он лежал, закатив глаза, голые тонкие ноги его стремительно покрывались красными пятнышками, от мундира остались клочья, а запах стоял — да от самого запущенного клозета пахнет приятнее… Рассуждая на эту и сопутствующие темы, саперы положили господина Мархеля на носилки и унесли в лазарет! Петер перемотал пленку, спрятал ее в карман и побежал к стапелю.

Никто не видел его. За крайней сваей он нащупал прикрытую тряпьем яму, а под тряпьем — жестяные коробки. Он положил туда свою, снова прикрыл все и ушел, не оглядываясь.

В блиндаже никого не было. Петер содрал с себя все и в одних трусах побежал к бочке с водой — отмываться. Его все еще преследовала вонь, испущенная господином Мархелем. Понимая, что запаха уже никакого не может быть, он лил и лил на себя холодную, обжигающе-холодную воду, мылился жестким обмылком и снова лил… Как офицеру, ему положен был запасной комплект обмундирования, и Петер был этому несказанно рад. Хрустящая, в мелких иголочках, необношенная ткань гарантировала надежное укрытие от вони. Одевшись и спрятав в мешок грязное, он сел на кровать — и вдруг захохотал. Смех прорвался, давно сдерживаемый и подавляемый смех, и Петер корчился, не в силах вдохнуть, не в силах остановиться и безо всякой надежды на хороший конец всей этой истории. Он слышал, как кто-то вошел, но залитые слезами глаза ни черта не различали в полутьме — электричества опять не было, а аккумуляторная лампочка уже чуть тлела, — но понемногу смог переключиться со смеха на внешнее и спросить:

— Кто?..

— Это я, — сказал голос Шанура, и голос этот был таким, что Петер сразу оборвал смех.

Он знал, что именно чувствует сейчас Шанур, он помнил себя после этого, но что-то еще было в той интонации, которая состоялась всего в двух коротеньких словах, кажется, принципиально не могущих обозначать что-то, кроме своего прямого словарного смысла, — что-то еще более страшное, такое, после чего человек не знает, даст ли успокоение даже немедленная смерть, и медлит поэтому, и остается жить в недоумении…

— Говори! — приказал Петер, но Шанур, не слыша его, подошел к своей койке и бросился на нее ничком. Кажется, он и не дышал даже. Тогда Петер взял его камеру, проверил: пленка была отснята. Он вынул ее, положил в коробку, Шанур, не поворачиваясь, сказал:

— Не надо…

Неожиданно он вскочил, но сил у него было, видимо, только на одно движение — он остался сидеть на краешке кровати.

— Не надо, — сказал он опять. — Засвети ее, Петер. Прошу тебя, не надо. Засвети. Засвети, я тебя умоляю. Это нельзя видеть, это нельзя оставлять, нельзя…

— Что там? — спросил Петер.

— Засвети.

— Зачем же ты снимал?

— Не знаю.

— А я знаю. Ты хотел, чтобы я у тебя ее отобрал и спрятал.

— Нет. Нет, конечно. Я правда не знаю зачем… только этого нельзя видеть. Засвети.

— Но ведь это же было? — Петер потряс коробкой — катушка забрякала внутри.

— Да. Было. Ну и что?

— Так чем же тогда ты отличаешься от господина Мархеля?

У него свой, написанный сценарий, а у тебя — ненаписанный, так? Что скажешь?

— Не смей так! Я — это не он! Он… — Шанур вдруг резко замолчал и уткнулся лицом в ладони. — Да, правда, — сказал он, не отнимая рук. — Но все равно, вот об этом, что у тебя в руках, знать никто не должен.

— Саперы оказались вовсе не ангелами во плоти? — спросил Петер.

Шанур резко вскинулся.

— Откуда ты… А-а! Ты тоже видел, да? Только не соври, пожалуйста, если ты сейчас соврешь…

— Ты никогда не подашь мне больше руки?

— Хоть бы и так.

— Ладно. Тогда слушай: я ничего не видел, но кое о чем догадываюсь. Ты ведь не думаешь, что я непроходимый болван, не способный увязать пару-тройку намеков?

— Ты до-га-ды-вал-ся… — протянул Шанур так, будто голосу его приходилось выдираться из пут, из колючей проволоки, из склизи, осенней глинистой склизи. — Я-асно. Теперь ясно. Вот зачем ты меня туда отправил…

— Не только.

— Не только… Ты знал, что именно я увижу, да? А откуда ты знал? Это что, твой сценарий? Это твой, да? Почему ты за эту ленту так уцепился?

— Христиан, попробуй подумать, какую чушь ты несешь.

— Так ведь ты ее все равно не получишь, понял? Ты понял? — Шанур выхватил пистолет и направил его на Петера. — Засвечивай!

— Дурак, — сказал Петер. — И не просто дурак, а дурак с принципами. И еще с задуренной головой. И еще полагающий себя…

— Засвечивай!!!

— Сам засветишь. Но сначала убьешь меня.

— Засвечивай!!! — Ничего человеческого не было уже в голосе Шанура.

Был, наверное, момент, когда Шанур действительно мог выстрелить, но момент этот промелькнул, и оба это поняли: Петер — умом, Шанур — руками, руки его затряслись и опустились, пистолет выпал и остался лежать на коленях Шанура, а сам Шанур обмяк, осел, сгорбился, сдался.

— Чего ты от меня хочешь? — тихо спросил он.

— Хочу, чтобы ты понял одну вещь, — тоже тихо сказал Петер. — Нельзя говорить не всю правду. Раз мы с тобой взялись за такое дело, так делать его должны честно. Мы можем — технически — подровнять, подгладить истину. Можем. Но нам этого делать нельзя. Пусть господин Мархель этим занимается. Что там, на этой ленте?

Шанур помолчал, потом неохотно сказал:

— Саперы купили у охраны девочек из киногруппы…

— Так я и думал, — сказал Петер. — Просто…

— Не просто, — сказал Шанур. — Если бы просто… Они устроили целый обряд. Праздник Гангуса, Слолиша и Ивурчорра.

— Ну и?..

— Все.

— Ты это и снимал?

— Это и снимал. Разожгли костры…

— А теперь хочешь засветить?

— Но ведь могло же меня там не оказаться, правда?

— Могло. Но ты оказался.

— И очень жаль.

— Жаль. И не только это. Знаешь, Христиан, сколько бы я дал, чтобы не оказаться в лагере «Ферт»? Или в Ловели у рва? Или на допросах в ГТП? Или на переправе через Юс? Рассказать тебе, как там переправлялись? Нагнали штрафников, поставили — сзади пулеметы… сзади пулеметы, впереди пушки — куда, думаешь, они пошли? Лежали — как волна прибойная замерла… высокая такая волна… пулеметчики с ума сходили, а стреляли — приказ… А потом в воду — куда иначе деваться? Кипела вода… я раньше думал, когда говорят: река покраснела от крови — что это метафора. Вот тебе — метафора. А я стоял и снимал. Или когда Примбау горел — его просто засыпали фосфором, и все горело, и люди горели, там же полным-полно народу было, беженцы, ребятишки, — а я снимал… Крепись, старик. Работа такая.

— Работа… То, что ты рассказал, — это все в рамках, понимаешь? Это ужасно, но это в рамках. А у меня — за рамками. Как если бы… помнишь, в прошлую войну была осада Флоттештадта? Там половина гарнизона перемерла от голода и жажды, помнишь? Великий подвиг, образец преданности… Так вот, если бы оттуда дать репортажи о том, как, допустим, генералы поедали своих подчиненных… как бросали жребий, кому идти в котел… Понимаешь? Это ведь все могло быть, но точно-то мы не знаем — и слава богу, что не знаем…

— Я понимаю. Конечно, это было бы страшно. Это погубило бы те красивые сказки, на которых нас с тобой воспитывали. А ведь ни один генерал в той осаде от голода не умер, кстати… Но по крайней мере мы знали бы все точно, и не было бы места для выдумок. Правдой историю не исказить.

— Не исказить. Но ведь есть же стыдные тайны?

— Это не нам с тобой решать.

— А кому? Господину Мархелю? — Шанур сморщился, как от зубной боли.

— Нет, конечно.

— А кому тогда?

— Не знаю. Никому конкретно. Это само собой решится. А должны дать материал для такого решения.

— Бесполезно все это, — с тоской сказал Шанур. — Все равно кто-то конкретный будет решать, и будет фантазировать на нашу тему, и создаст нас по своему усмотрению — для подтверждения своих маленьких истин…

Оба вдруг замолчали, потому что почувствовали неожиданно, что земля уходит из-под ног и стремится куда-то далеко и неодолимо, и сам ход времени отдался гулко и протяжно, как безначальный звук лопнувшего в небывшие времена рельса, и будто пронизывающим ледяным ветром потянуло сквозь них, прозрачных, и сквозь мир, и сквозь вековечные скалы, такие крошечные и такие хрупкие, потянуло то ли из прошлого в будущее — и тогда непонятно было, почему же ветер настолько стерилен и нет в нем запахов пожаров и хлеба; то ли из будущего в прошлое — но почему он холоден, как в бесснежную злую зиму, и тосклив, и ровен, будто бы там, в будущем, не за что зацепиться и не на чем задержаться и остается только лететь, лететь призрачно, зло, ледяно и свободно. Будто бы нечего ждать и не на что надеяться, и можно без суеты и ненужного шума устраивать потихоньку свои дела, чтобы быть готовым в урочный час… Петер опустился рядом с Шануром, и так они сидели долго, а ветер все дул, и дул, и дул…

Открытие памятника инженеру Юнгману было запланировано на двенадцать часов дня, но состоялось на три часа раньше, причем совершенно тайно; об изменении срока знали только господин Мархель, генерал Айзенкопф и Петер. Генерал произнес краткую речь, глядя поверх объектива — там был прикреплен лист бумаги с текстом. Господин Мархель с приклеенными усами и бровями и в форме саперного майора сдернул брезент. Бронзовая фигура инженера Юнгмана имела несколько неопределенный вид: то ли бронза не способна была передать особенности лица покойного, то ли сказалась нехватка мастерства и опыта у доморощенного скульптора, то ли еще что — но только в чертах инженера проглядывала то нехорошая улыбка господина Мархеля, то надменность генерала; и правая рука его не то указывала направление движения — но для этого она была поднята чересчур высоко, не то означала римское приветствие — но слишком уж неуверенное, скованное, без предписанной уставом истовости и самоотречения; саперы говорили потом, что бронзовый инженер хочет проголосовать попутку через мост, да только вот что-то никто не едет…

— Странная закономерность, Гуннар, ты не замечаешь? — говорил после церемонии генерал. — Чем старше по званию становится сапер, тем больше вероятность, что он окажется предателем. Будто короны эти отравляют его душу… Две тысячи рядовых — предателей нет. Четыре сотни унтер-офицеров — предатель один. Девяносто два младших офицера — предателей шесть. Одиннадцать старших — из них трое наверняка и еще двое под подозрением. Кошмар! Будто повышение звания не только не укрепляет естественной преданности Императору, а, наоборот — стимулирует какие-то теневые, я бы даже сказал — негативные моменты сознания индивидуума. Конечно, обретая власть, человек начинает иначе относиться к власти над собой — но не до такой же степени, черт побери!

— Чему ты удивляешься? — спросил господин Мархель. — Враг и не станет целиться вниз, в основание пирамиды. Он будет целиться в самый верх, в нас с тобой, — но ведь мы-то ему не по зубам, не так ли? — ну и чуть ниже. Я уже давно думаю на эту тему. Все то, что мы видим сейчас: саботаж, явный и скрытый, случаи неповиновения, снижение темпов — все это очень легко объяснить именно тонким, я бы даже сказал — деликатным вмешательством вражеской агентуры. И цель, которая стоит перед нами, — это найти способ обезвреживать ее еще до того, как она начнет активно себя проявлять.

— Интересная мысль, — сказал генерал. — И как ты это мыслишь?

— Следует исходить из того, что любой агент — это человек с двойной моралью. Так или нет? Та, глубинная, истинная его мораль — это как бы лицо, а вторая, та, что мы видим — это как бы маска. А чем лицо отличается от маски? Чем, Йо? Не знаешь? Да просто лицо более пластично, а маска статична, и с этим ничего не поделать, даже если очень захотеть. Представь себе: тысяча человек, и все плачут. Тут выходишь ты и командуешь: смейтесь! И сразу становится ясно, кто в маске, а кто — настоящий. На таком вот сломе они все и попадутся.

— Интересная мысль, — повторил генерал. — А как ты это предполагаешь осуществить?

— Уж это-то предоставь мне, — сказал господин Мархель. — И знаешь что? Твой этот майор по особым поручениям — он сильно тебе нужен?

— Да как тебе сказать, — замялся генерал. — Потерплю, если надо.

— Я хочу его на это дело натаскать, по-моему, он парень толковый.

— Толковый-то он толковый… — Генерал не договорил. — Ладно, бери. Вельт!

Вошел и щелкнул каблуками майор Вельт.

— Поступаешь в распоряжение господина Мархеля, — сказал генерал. — Будешь ему во всем подчиняться, как мне. Понял?

На какой-то миг майор растерялся: губы его капризно надулись, глаза заморгали, и даже слеза блеснула. Но он, человек военный, взял себя в руки, судорожно выпрямился и четким штабным баритоном выразил свое полное и безоговорочное согласие с любым, даже таким бесчеловечным, решением генерала.

Инструктаж майора состоялся тут же.

— Значит, так, — сказал господин Мархель. — Слушайте и запоминайте. Вы будете работать с донесениями военнослужащих друг на друга. Какова ваша задача? Самым тщательным образом вы проведете статистическую обработку донесений и выявите следующие группы: первая — на кого поступает максимальное количество донесений; вторая — на кого их совсем не поступает; вычислите среднее количество доносов на один объект доносительства вообще и по категориям: рядовые, унтер-офицеры, младшие офицеры и старшие офицеры; вычислив это, установите поименно лиц, на которых падает среднеарифметическое и средне-алгебраическое число доносов — опять же вообще и по категориям. Произведете изъятие этих лиц. Далее: выявите субъектов доносительства, при этом обращая внимание на, так сказать, максималистов — агентура способна проводить подрывную работу и таким иезуитским методом — и на тех, кто вообще не пишет доносов; именно в этих группах наличие агентуры наиболее вероятно. Далее, выявите, кто именно донес на тех, кого вы подвергните изъятию, и проведите поощрительные мероприятия, например, выдвинув их на руководящие посты. Вся эта работа должна проводиться циклически, и цикл установим… ну, дней пять. Надеюсь, за пять-то дней будет набираться достаточный информационный массив?

— Гуннар! — восхищенно сказал генерал. — Почему ты не в контрразведке? Ты хоронишь свой талант!

— Эх, Йо, — сказал господин Мархель. — Ничего-то ты не понял. Мой талант куда больше того, что нужен контрразведчику. Я бы заскучал там через неделю.

— А изъять — это обязательно на расстрел? — спросил майор.

— Всех расстреливать? — задумался господин Мархель. — Хм… Что скажешь, Йо?

— Сколько это будет в абсолютных цифрах? — спросил генерал.

— За цикл — десять — пятнадцать единиц, — сказал майор.

— Расточительно всех, — генерал посмотрел на господина Мархеля. — По-моему, расточительно. Нет уж, давайте расстреливать только самых отъявленных. Ну, двух-трех, не больше. А остальные пусть работают. Сделаем трудовой лагерь — ну и пусть искупают трудом.

— Так ты что же, хочешь за предательство наказывать только уменьшением пайка и переводом в ночную смену? — спросил господин Мархель. — Смешно, Йо, ей-богу.

— А ты что предлагаешь?

— Может, на время их работы убирать щиты и снимать маскировочные сети? Так сказать, поднявший меч — от меча и…

— А потом опять навешивать? Не-ет, надо что-то другое… Погоди! А пусть-ка они роют туннель под каньоном! А? Подумай только…

— Ты гений, Йо! Дай я тебя обниму!

— Подумай-ка, сразу двух зайцев…

— Ведь и не скажешь, что генерал! Гений, умница, эрудит!

— …и работа тяжелее, и цель достиг…

— Это историческое решение, Йо!

— …потому что никакой бомбой…

— …довести до всеобщего сведения как пример беспримерной стойкости в борьбе с объективными…

— …и пропускная способность никак не меньше…

— Готовь приказ!

— Будет приказ. Надо только штрафников поднакопить…

— Не беспокойся, будут тебе штрафники!

Исчезновение Баттена было плохим предзнаменованием. Для Петера во всяком случае. Петер знал Баттена три года и только в последнее время стал по-настоящему понимать, какой же это пройдоха. В отличие от Менандра, скажем, Баттен никак не афишировал свои способности и потому казался просто везунчиком, простым и славным парнем, события вокруг которого сами собой складываются в наиболее благоприятный ряд. Он был до чрезвычайности скромен, этот Баттен, и цель у него была тоже достаточно скромная, хотя и вполне респектабельная по нынешним горячим временам: выжить. Просто выжить. И вот он-то, чуящий любую опасность за много-много дней до того, как она возникнет на его маленьком горизонте, — вот он-то и исчез.

Надо сказать, что исчезновение это встревожило и господина Мархеля — правда, другой своей стороной.

— Я предупреждал! — потрясая перед носом Петера каким-то свернутым в трубку листком, надо полагать, доносом — то ли на Баттена, то ли на самого Петера, — злобился он. — Я еще во-он когда предупреждал вас о бдительности! И что же? Пропадает человек, без которого мы — как без рук! Агентура знает, куда нацеливать свои удары! Где мы теперь возьмем техника?

— Я извещу главного редактора, — сказал Петер. — Пришлет кого-нибудь.

— Нет, это я извещу главного редактора, — жестко сказал господин Мархель. — А то действительно пришлет кого-нибудь. Черт вас всех побери, — тоном ниже сказал он. — Ну что бы вы без меня делали?

Лето кончилось внезапно, в одну ночь. И так оно держалось долго, сколько могло, до сентября, до последнего патрона, до долгих звездных ночей и неожиданной прозрачности опустевшего воздуха, когда звуки, раз родившись, уносятся куда-то, не задерживаясь, не возвращаясь, но и не погибая, не истираясь по дороге. Эти горные осенние ночи, когда между тобой и звездами абсолютно ничего нет, когда даже сквозь подошвы казенных сапог ощущаешь вращение земли и гул, производимый ею при этом вращении, и неясные токи, бродящие в ее глубинах, и шаги многих ног в той стороне, где утро, и что-то еще, странное, неподвластное осознанию, но могучее, то, что снимает осторожно человека с шаткого его самодельного пьедестала и помещает к остальным явлениям природы, между реликтовым деревом гинкго и неполным солнечным затмением. Недолго длятся они, такие ночи, но в каждой осени высекают свой след, короткий, но глубокий — алмазную грань… Потом начинается водь и гниль, и раскисшие дороги под ногами, и все тихо покорно умирает — и не в том беда, что умирает, а в том, что тихо и покорно; умирает, пока морозом и снегом не обозначится межвременье, которое перемежит конец умирания с началом нового цикла, и так без конца — или до конца… конца — потому что свой час духов в каждой ночи, своя осень в каждом году и свое средневековье в каждой эпохе, и каждый раз безвременье прерывает нити и, губя окончательно все, что подвержено смерти, задерживается на миг, день, год, жизнь — но проходит, все равно проходит когда-нибудь. Но осень еще только начиналась.

Ни черта не продвигалось дело с мостом — что-то безнадежно разладилось там, и все усилия прилагались вразнобой и потому без толку, команд хватало, команд, приказов и циркуляров было куда больше, чем нужно, и инженер Ивенс, волоча за собой хвост личной охраны, хищным ящером метался по всей стройке, — ио нет, за день удавалось нарастить мост на два, редко на три звена; как-то раз сделали пять звеньев, и это было преподнесено как великое достижение. И без того не слишком просторная площадка перед стапелем была до отказа забита звеньями ферм — то неподходящими по номенклатуре, то некондиционными, — и трейлерам приходилось буквально протискиваться, раздвигая их, к выгрузке, они застревали, калечились сами и калечили фермы, и чем дальше, тем сложнее становилось ориентироваться монтажникам. Офицеров арестовывали. Обстановка становилась невыносимой.

В Ивенса дважды стреляли.

Наверное, как сыпь при лихорадке, стало появляться громадное количество плакатов и лозунгов патриотического содержания. Это были бумажные или текстильные полотнища стандартных размеров, на которые типографским способом нанесены были рисунки и слова, доносящие до масс неизбывную мудрость Императора. Мудрость эта выражалась обычно в нескольких словах, затрюизированных до потери смысла, поскольку к составлению лозунгов требования предъявлялись чрезвычайно жесткие: недопущение двоякого толкования, подбор слов таким образом, чтобы исключить возможность непристойного рифмования, возникновения каламбуров и преднамеренного или случайного извращения смысла путем изменения или перестановки знаков препинания или, скажем, ошибок и описок при написании слов. То, что при этих манипуляциях мудрость Императора ужималась до размеров житейской, типа: «Чисти зубы только своей зубной щеткой!» — никого не волновало. Поговаривали, что в подвалах министерства пропаганды содержатся на полковничьем пайке два десятка завзятых зубоскалов, которые поначалу отправлены были на каменоломни, но потом переведены оттуда специально для обкатки лозунгов и плакатов политического содержания. Это походило на правду: и потому, что выходящие из министерства лозунги были совершенно неуязвимы для осмеяния, и потому, что только завзятые саботажники могли дать зеленую улицу таким перлам: «Герои! Ваш ратный труд — это наша гордость!», «Чистое тело солдата — первейший долг интенданта!» и, наконец, красочному плакату: солдат в мундире хватает за руку повара, чистящего картошку, и подносит ему под нос огромный кулак; крупными буквами надпись: «Мы себе не враги!!!»; мелкими, пониже: «Снизим количество картофелеотходов на душу населения!» Плакаты выпускались приличными тиражами, бумага, которая на них шла, была хоть и толще газетной, но не слишком жесткая, поэтому, хотя за использование плакатов не по прямому назначению солдаты получали взыскания, порой строгие, кампании по наглядной агитации солдатами всегда приветствовались. Часто кампании эти ими провоцировались: достаточно было, допустим, на старой плащ накидке начертать здравицу Императору, как командование спохватывалось— и через день-два бумаги было в достатке и даже избытке.

Но на этот раз размах кампании был даже неприличен — сотни и тысячи типографских и самодельных плакатов залепили все вокруг, их клеили слой на слой, клеили все; то ли это был какой-то болезненный энтузиазм, то ли массовая демонстрация деятельности в условиях повышающейся смутности, непонятно. Армант, прикусив от усердия язык, выводил большими буквами прямо на стене: «Объективность — долг нашей совести!» Петер прочел это, перехватил хитрый взгляд Шанура, но промолчал.

С Шануром после той памятной ночи творились странные вещи. Во-первых, он сделался этаким воспаленно-веселым мальчиком, у которого любые слова и действия вызывают внутреннюю щекотку. Во-вторых, он как-то признался Петеру, что совсем перестал спать, но это не причиняет ему никаких неудобств, ночью он размышляет или встает и бродит, благо стены для него теперь не препятствие. Скалы, земля — это да, а все, что построено людьми, пропускает его свободно. Но что самое смешное, ни на что по-настоящему интересное он в своих блужданиях не наткнулся.

— А знаешь, — сказал он, подумав, — нам ведь с тобой, наверное, можно поумерить осторожность. Теперь с нами трудно что-то сделать. Помнишь, тебя бомбами накрыло? Я ведь потом посмотрел: швеллер тот, за которым ты прятался, весь осколками посечен, что твое решето. А тебя просто воздухом ударило да об землю ободрало…

— Мы и так вовсе страх потеряли, — сказал Петер. — Я как подумаю, что будет, если обнаружат тайник…

— Расстрелять-то нас все равно не смогут! — горячо возразил Шанур. — И из любой тюрьмы…

— Э-э! — махнул рукой Петер. — Да эта наша неуязвимость до тех только пор существует, пока мы не боимся. А чуть испуг — и нет ее. Можешь знать назубок, что ты неуязвим, а придут за тобой комендантского взвода солдатики — сердчишко-то и ёк! Рефлекс, будь он проклят. И где твоя неуязвимость?..

— Это точно? — спросил Шанур.

— Попробуй, — сказал Петер.

Нахмурясь, Шанур подошел к двери, оглянулся на Петера и протянул вперед руку. Рука уперлась в дверь. Шанур надавил, потом со злостью ударил по доскам и вернулся к Петеру, посасывая костяшки.

— Убедился? — спросил Петер. — Чуть-чуть, а хватило. Так что не рассчитывай слишком па это. В бою — да, в бою может спасти. А против этих…

Шанур сел на койку, вцепился руками в край, зажмурился и стал медленно раскачиваться вперед-назад, что-то неразборчиво бормоча и подстанывая.

— Прекрати психовать, — сказал Петер. — Перестань.

— Да, — сказал Шанур. — Да, сейчас. Сейчас.

— Прекрати.

— Знаю. Дурак. Поверил. Ох, какой дурак!

— Не ты первый.

— Жаль.

— Если бы было так просто…

— А знаешь, я так поверил…

— Пройдет.

— Что пройдет?

— Легковерие.

— Пройдет, конечно… Ах, черт побери, как было бы здорово, а? Петер не ответил. Ему вспомнился вдруг господин Мархель, как он говорил: «Вы сценарием вообще не предусмотрены… вы всегда находитесь по ту сторону камеры…», — и Петер, положив руку Шануру на плечо, сказал:

— Ничего. Мы сценарием вообще не предусмотрены. Ничего с нами не случится. Мы всегда находимся по эту сторону камеры.

Шанур медленно, стараясь, чтобы это получилось необидно, высвободил плечо из-под руки Петера, встал, подошел зачем-то к двери, потом вернулся.

— Конечно, — странным голосом сказал он. — Что же… С нами ничего не случится. И гори все ясным огнем. Правда?

— Правда! — зло сказал Петер. — Чистая правда. Ясным огнем. Именно ясным. Ты что, всерьез считаешь, что хоть что-то можно сделать? Да оглянись ты! Это же… это… система! Очнись и оглянись! Хоть раз!

— Это я-то не оглядываюсь? — шепотом заорал Шанур. — Да я уже всю шею себе свернул, оглядываясь! Все я вижу, все, понимаешь ты — все! Всю дрянь и гниль вижу — но ведь нельзя же видеть и сиднем сидеть, видеть и молчать, видеть и не видеть, ну нельзя, не могу, понимаешь ты, не могу, тварь ты после этого, последняя тварь распаскудная, я-то думал, ты просто не понимаешь, а ты все понимаешь, да на хрена сдалась нам наша блядская жизнь, если все — на пропасть? Ну, скажи! Нет, ты скажи мне — на хрена? — Шанур уже тряс за грудки Петера, и тот, ошалев, пытался возразить — но что тут возразишь? — Да они купили нас на корню, они знают уже, что мы дерьмо, что мы за кусок мяса любого задавим, а потом еще себе воз оправданий найдем и гордыми будем ходить — а уж за шкуру свою мы что угодно сотворим, особенно если попросить уметь…

— Заткнись! — Петер наконец пробил застрявший в горле ком. — Заткнись, дурень! Жить надоело?

Шанур попятился от него, глядя прямо в глаза — сначала с недоумением, потом с презрением, потом спокойно. Спокойно — глаза в глаза.

— Так — надоело, — сказал он. Тоже спокойно.

— Понятно, — сказал Петер. Помолчал, добавил: — Но ведь тебя убьют. Это очень неприятная процедура.

— Не убьют, — сказал Шанур. — Я не испугаюсь. Петер покачал головой.

— Чего же ты хочешь добиться? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Шанур. — Не знаю, чего хочу. Знаю только, чего не хочу.

— Чего же?

— Врать. Врать самому и помогать врать другим.

— Ты идеалист, — сказал Петер.

— Почему идеалист? — усмехнулся Шанур. — Я признаю первичность материи. Информация материальна, не так ли?

Петер думал. Все, что сказал Шанур, новостью для него не было — это были его собственные мысли, давние и недавние; но Шанур, кажется, собирался пойти дальше простого думанья.

— А праздник в честь Гангуса, Слолиша и Ивурчорра? — вспомнил Петер.

— Все, — сказал Шанур. — Все в одну кучу. Ты прав — нельзя бороться со сценарием другим сценарием. Так что… — Он замолчал, не договорив.

— Но что ты конкретно собираешься делать? — спросил Петер. Шанур молчал. Он молчал долго, и Петер не торопил его с ответом.

— Буду больше снимать, — сказал Шанур наконец. — Буду записывать. Будут записывать другие. Есть несколько фотоаппаратов, надо достать пленку…

— Будет пленка, — сказал Петер.

— …надо добраться до архивов, до штаба, до лагеря штрафников — короче, сделать полную картину стройки. И сохранить ее, конечно. Такая вот программа.

— Хорошая программа, — сказал Петер. — На пять расстрелов с поражением в правах…

Он смотрел на Шанура и не знал, смеяться сейчас или плакать. Мальчишку нельзя предать, это единственное, что понятно до конца, — предать в том смысле, что нельзя отказать ему в помощи, иначе он наломает дров и погибнет сразу. Да и неохота, честно говоря, отказывать ему в этой помощи… неловко, что ли… А все равно ты идеалист, Шанур, хоть ты и признаешь первичность материи, — идеалист потому, что веришь, то есть принимаешь нечто за истину без каких-либо оснований. Ты веришь почему-то, что правда является силой сама по себе. Дудки. Правда — это сила только в руках тех, кто способен ею владеть, то есть вертеть то так, то этак. Правда — это грозная, но слишком тяжелая дубина, и одиночкам ее не поднять, и для них она не оружие. И неизвестно еще, кто именно возьмет в руки изготовленную тобой правду и на чью голову ее обрушит. Такие вот дела, дорогой мой Шанур, такие вот невеселые дела, а только я все равно буду помогать тебе и прикрывать тебя, как делал это до сих пор, — буду, хоть **и** бесполезно все это, настолько бесполезно, что и представить нельзя, тошно, еще бесполезнее, чем сам этот мост, а только буду, буду, буду, потому что мне так хочется, вот почему, я могу найти **и** придумать массу рациональных объяснений этому моему решению, но главное — именно вот это: мне так хочется; я считаю это правильным; я считаю это честным делом; пусть бесполезным и погибельным, но честным; а какая зараза доказать может, что человек не должен заниматься бесполезными делами? Человек, может быть, тем и отличается от обезьяны, что может совершать совершенно бесполезные поступки ради придуманных им же самим понятий: чести, совести, души… да он и придумывал их затем, чтобы объяснять свои бесполезные поступки… Интересно все это — если вдуматься.

Если вдуматься… если иметь время вдумываться, если иметь желание вдумываться, если вообще уметь вдумываться, поскольку на протяжении всех лет существования Империи думанье было занятием, не способствующим ни карьере, ни долголетию… следовательно, если иметь мужество вдуматься… так вот: если вдуматься, то получается, что вся история человечества — это вовсе не история его развития, а история преобразования им природы, и не более того. Тут я почти смыкаюсь с Юнгманом… Возникали и гибли династии, на смену рабству прямому пришло рабство опосредованное, и совершенствовалась всякого рода техника, а вот человек — как был, так и остался несовершенной, противоестественной химерой, этаким кентавром, полубогом-полузверем, черт знает откуда возникшей душой на обезьяньем туловище. И все, что происходило, происходит и, видимо, будет происходить, — это только потому, что душа, чтобы выжить, должна заботиться о сохранении тела, а тело от забот о душе свободно; что душа вынуждена довольствоваться малым, чтобы не потерять все, а тело ненасытно и неблагодарно и чрезвычайно изобретательно в смысле удовольствий, комфорта и безопасности; и нет и никогда не будет равновесия между ними. И тысячи лет человек балует свое тело и закармливает душу салом и сахаром, чтобы дремала смирненько и не лезла в дела общечеловеческие. И все было бы хорошо и спокойно, если бы почему-то люди не были такими разными, если бы некоторые души не были невосприимчивы к сахару и салу, а некоторые, наоборот, чрезвычайно прожорливы, но худы, вечно голодны и злы поэтому; и если бы совесть, этот подслеповатый судья в вечных спорах души и тела, не разрасталась бы у некоторых, как зоб, уродующий и потому начинающий влиять на поступки… Гипертрофия души, гипертрофия совести — болезни страшные, опасные, почти всегда смертельные. Кажется — заразные…

Но — странно все это, господа. К чему мы придем? Да, прогресс; да, противоречия — это двигатель его; а что такое сам прогресс? Мотаемся по кругу — по спирали? Пусть по спирали — виток, виток, еще виток… еще и еще? А дальше? Дальше-то что? И каждый этот виток устилается телами и душами, мертвыми, покалеченными, слепыми, пробитыми насквозь — а дальше? зачем? Куда? К всеобщему счастью? Но с точки зрения тел счастье — это когда тепло, сыто, мягко, нигде не жмет и ничего не нужно делать; а с точки зрения душ — это когда просторно, дико, ново, интересно, свободно… Так — куда?

Куда попроще?

Да, как обычно…

— Опять налет, — сказал Шанур.

В блиндаже надрывный, захлебывающийся лай зениток преображался в глухой рокот перекатывающихся камней, а потом земля стала вздрагивать под ударами бомб и с потолка потекли струйки пыли. Все повторялось вновь, чтобы потом повториться еще и еще, возвращалось на круги своя, и вырваться из круга казалось невозможным…

Через два дня температура резко поднялась, и все окутал туман — такой густой, что не то что работать — ходить стало трудно. Пользуясь этим туманом, диверсионная группа попыталась пробраться к штабу, но по чистой случайности наткнулась на зенитчиков, ввязалась в перестрелку, попыталась уйти и сослепу сунулась прямо под счетверенную пулеметную установку. Кто-то, может быть, и ушел, никто не поручился бы, что диверсантов было именно семеро, но и обратного доказать было нельзя, поэтому был составлен рапорт о полном уничтожении группы. Разумеется, ни о каких съемках речи не шло, не говоря уже о полной неожиданности — туман, господа, туман, какие тут съемки? Руководствуясь этими соображениями, а также полным отсутствием этого эпизода в сценарии, господин Мархель настоял на непричислении этого события к имевшим место.

Туман висел плотной серой пеленой, пропитывал насквозь непромокаемые накидки, оседал слизью на скалах, крупными каплями повисал на балках моста. Мост стремительно ржавел. Одежду отжимали и вновь натягивали на себя — только так и можно было ее сушить. Приказа о переходе на зимний сезон и начале топки печей еще не отдавали.

Смешиваясь с соляровой гарью, туман образовывал такую ядовитую смесь, что саперам приходилось работать в противогазах.

Хроникеры, лишенные работы, слонялись по окрестностям. Их не замечали и пропускали везде, кроме штрафного лагеря — там, наоборот, они становились будто помеченными, и приблизиться к проволоке никому не удавалось.

Пусть туман — Петер продолжал таскать с собой камеру. Это было его оружие, и без нее он чувствовал себя как пехотный офицер без пистолета. Мало ли?..

Хильман встретился ему внезапно — просто вышел из тумана чем-то знакомый офицер, Петер, продолжая думать о своем, сделал полшага в сторону, пропуская, — и вдруг узнал его. Остолбенел — это слабо сказано, внутри все куда-то пропало и сердце запрыгало, как стальной шарик по бетону, выбивая тяжелую дробь; но наружно это проявилось именно так: Петер застыл столбом. Хильман, чуть подсмеиваясь и щуря глаз, обошел его кругом, встал навытяжку и истово отдал честь, потом не выдержал, прыснул, схватил за плечи и затряс:

— Ты что, чертяка, не узнал меня, да? Ну, память девичья, а еще друг называется! Ну, что молчишь?

Петер попытался сказать, что узнал, мол, только так не бывает, чтобы тобой собственноручно похороненный — и на тебе, встретились! — но из горла вырвалось что-то неопределенно-задушенное, и Хильман понял все.

— Да не оживал я, — сказал он. — Все нормально, не бойся. Ты живой, я мертвый — ну и что? Все в порядке вещей. Не волнуйся. Пойдем посидим где-нибудь, а то я уже бродить устал…

Оцепенение не проходило, и Петер побрел покорно за оживленно тараторящим Хильманом, так ни черта и не понимая. Они сели в какую-то нишу в скале, как специально выдолбленную для того, чтобы два офицера могли сесть рядом и потолковать о жизни, не опасаясь падающего с неба осколка, дождя или ока вышестоящего начальства.

— Жду переправы, — сказал Хильман. — Оказывается, по нынешним временам через Стикс так просто не перебраться. Пустили два парома, но все равно очередь еще не меньше чем на год. Вот и бродим по свету, размещаемся, где можем… А я искал тебя, знаешь. Как-то не договорили мы тогда с тобой, и так стало мне обидно — не договорили…

— Постой, — вспомнил Петер. — Ты ко мне в госпиталь приходил?

— Нет, — сказал Хильман. — А ты успел в госпитале побывать?

— Да, — сказал Петер, — ободрало… А мне, когда лежал, казалось, что ты приходил.

— Померещилось, — сказал Хильман. — У тебя курево есть? Петер поискал по карманам: с утра брал, но… Коробка была на месте, и в ней, смятые и сырые, три сигареты.

— Вот все, — сказал он. — Подожди меня тут, я сбегаю…

— Не надо, — сказал Хильман. — Потеряю тебя, потом искать снова… Хватит этих.

Он закурил, затянулся, зажмурился, прислушиваясь к себе, замер; лицо его на миг застыло в выражении готовности ко всему — и к разочарованию, тогда мимика передаст и само разочарование, и стоическое его преодоление; и наоборот… наоборот… именно наоборот! Лицо расслабилось, от уголков губ и глаз блаженная улыбка, испарилось напряжение, и Хильман, выдохнув дым, обмяк и что-то такое изобразил из себя, что Петер сам ощутил прилив ясной радости, как при пробуждении в детстве.

— Как живой, — сказал Хильман и шумно вздохнул — безо всякой, впрочем, грусти. — Вот совсем как живой…

— Ну, рассказывай, — сказал Петер. — Как, что?..

Он сам понимал неуместность и нелепость подобных вопросов, но не мог удержаться от них или придумать что-нибудь получше.

— Да что там рассказывать, — сказал Хильман. — Нечего рассказывать. Скучища страшная. И… вообще… Не понимаю — нам ведь там делить нечего, терять нечего, а все почему-то друг на друга волком смотрят. Отчуждение… да. Ну, не все, конечно, так почти все. Что такое… странно. Не по-людски. Я думал, смерть людей примиряет, а — на тебе… Если хочешь, можем сходить, посмотришь. Тут недалеко. Пойдем?

— А… можно? — оторопело спросил Петер.

— Почему же нельзя? Ты хроникер, тебе все можно. Не боишься? Ну и правильно, это вас, живых, надо бояться…

Хильман повел его, уверенно раздвигая туман, куда-то по направлению к штрафному лагерю, вдоль непонятного бетонного забора, потом мимо свалки, мимо позиций минометчиков — часовой не окликнул их, — потом свернули направо, в узкую лощину, заросшую колючим стелющимся кустарником, потом лощина кончилась, и они вышли на карниз, узкий, в полшага шириной, а дальше и ниже, метрах в ста ниже, лежала обширнейшая котловина, которой тут быть никак не могло, уж настолько-то Петер знал здешнюю топографию, и карту, и саму местность, но котловина — вот она, как на ладони, и простирается чудовищно далеко, теряясь в дымке — не в тумане, туман как отрезало ножом, — и вся эта котловина, отсюда и далее, заставлена ровными рядами бараков, и между бараками бродили, медленно и бесцельно, солдаты. Справа, в километре или немного дальше, возвышался над всем террикон, черный конус, и вокруг него, маленькие и совсем не страшные, стояли вышки, сторожевые вышки с пулеметами и прожекторами, и было во веем этом что-то странное, мешающее принять эту картину за данность, а требующее размышлений и критической оценки, и Петер стал вглядываться и понял, наконец: то, что он видел, напоминало фотографию, отпечатанную сразу с двух негативов, потому что вон там сторожевая вышка торчала прямо из крыши барака, а вон там колючая проволока в три кола так и шла, наискосок прорезая ряд бараков, и в коридоре между колами шел, проходя сквозь стены, часовой с собакой на поводке…

— Спускаемся? — предложил Хильман.

Тропинка вниз была крутая и извилистая, камень скользил под ногами, и несколько раз Петер едва удерживался, чтобы не загреметь под откос, но не загремел-таки; потом тропинка перешла в каменную осыпь, и они с Хильманом сбежали вниз, увлекая за собой небольшой камнепад.

Отсюда, снизу, зрелище представало еще более угнетающее: бараки стояли в линию, и нигде эта линия не ломалась; дорожки посыпаны были желтым песком, деревянные бордюрчики побелены известью, и этот песок и эта известь нагоняли вдруг такую тоску, что Петер еле удержался от стона; у бараков сидели, опершись о стены, солдаты, или стояли, или слонялись, все в полном обмундировании, но без оружия. Не слышно было ни ругани, ни смеха, ни разговоров. Даже те, кто ходил по дорожкам, не нарушали картины общей тяжелой неподвижности.

— Снимать можно? — почему-то шепотом спросил Петер.

— Снимай, — сказал Хильман. — Отчего же нельзя…

Петер поднял камеру, ставшую вдруг свинцовой, установил расстояние и стал снимать панораму. Тихое жужжание механизма разнеслось, казалось, вокруг и даже отдалось эхом. Кое-кто повернул к нему голову, посмотрел и отвернулся равнодушно, Петер снял метров двадцать и опустил камеру. Ему было почему-то нестерпимо стыдно.

Хильман, кажется, почувствовал это.

— Пойдем, — сказал он. — Я тебя с ребятами познакомлю. Стараясь не смотреть на лица встречавшихся им, Петер шел за Хильманом по желтой песчаной дорожке, поворачивал, куда вели, и считал шаги, чтобы не думать, не думать, не думать… четыреста пятьдесят шесть, четыреста пятьдесят семь, четыреста пятьдесят восемь… а что я им скажу?.. четыреста шестьдесят… перед ними всеми?.. четыреста шестьдесят четыре, четыреста шестьдесят пять… но я, я-то лично — чем я виновен?.. четыреста семьдесят… тоже мог, тысячу раз мог — повезло… четыреста семьдесят семь…

Впрочем, все оказалось легче. Ребята даже слегка обрадовались появлению живого человека — или изобразили, что обрадовались; тут же образовался кружок, по нему прошли две оставшиеся сигареты, и завязался разговорчик о вещах простых и понятных. Новости они все знали, а вот мнение Петера по кой-каким вопросам их интересовало, тем более что Петер, как им казалось, был вхож если не на самые верха, то достаточно высоко. Петер отвечал, если мог ответить, или честно говорил: не знаю, не понимаю, не могу объяснить, какое тут может быть мнение, когда информации ноль, когда кругом вранье, и неизвестно, кого именно мы обманываем: себя, противника, свое начальство? Кто-нибудь знает хоть, с чего началась эта война? Кто на кого напал и почему? Знает кто-нибудь? Вот то-то и оно. Да, говорили ему, когда были живы — все знали, и кто, и почему, и за что именно помирать должны, а вот померли — и кончилось понимание. Кончилось! Поначалу здесь спорили, что-то пытались уяснить… Ладно, чего там. Черт с ним, когда и с чего началось, — кончилось бы все поскорее! Смотри, что тут творится! Еще год-другой — вообще мужиков не останется! От кого бабы рожать-то будут — от генералов, что ли? Ну, ты и скажешь! Нет, ребята, карточную систему заведут, как на маргарин, значит. А что? Разумно. Нет, братцы, несмешно все это.

…а сеять? А пахать? Баба, что ли, вспашет как следует? Баба — она тебе вспашет. Не может земля без мужика, как ни крути, а на земле только мужицкий пот в дело идет, это уж так от природы заведено…

…так ведь выгребают начисто! Ты пойми — они же там с голоду по-настоящему мрут! На семена и то не оставляют, все, говорят, на муку; а тут у пас один сходил, посмотрел, мы же везде пройти можем, нас живые не видят, — так курей тем зерном кормят, а кто курятину ест? Вот, а ты говоришь — справедливость…

…скука тут смертная, вот скажи мне: опять под танки хочешь? Хочу, понимаешь ты, хочу! Год еще тут ждать, не меньше, а у парома, говорят, ужас что делается, кому срок подошел, они же совсем уже… ну, понимаешь…

…Да, тут и штрафникам позавидуешь, они там хоть что-то видят, чувствуют…

…слушай, подполковник, а верно говорят, что самого Императора давно уж и нету, а просто генералы сговорились и комедию разыгрывают? Само собой, что все равно, а интересно просто…

Одни отходили от кружка, другие присаживались, и Петер вовсе перестал видеть в происходящем нечто странное, и только иногда, когда задавали острые вопросы — а не выгодно ли генералам, чтобы потери такие большие были? А вот ты-то сам, подполковник, хоть раз начальству правду в глаза сказал? А на хрена, прости, тогда такой порядок, что мы за него мрем как мухи, а для пользы дела приходится врать—так что это за дело такое и что за польза? — и говорили страшные вещи, Петер думал: неужто для того, чтобы поумнеть по-настоящему, человек должен быть убит? Неужели страх смерти в нас настолько силен, что может придать нашим мыслям любую направленность — при полной искренности. Неужели…

— Не устал? — спросил его Хильман. — Наших, знаешь, не переслушаешь. Им дай только кто согласится слушать…

— Не понимаю, — сказал Петер. — А друг с другом?

— Не понимаешь, — горько сказал Хильман. — Какой нам смысл—друг с другом? Мы ведь… так… отработанный пар… израсходованный материал… потери… какой смысл? Какой смысл во всем? А? И я не знаю… Пойдем лучше в штрафной лагерь сходим. Там по-другому немного.

— А пройдем?

— Попробуем…

Только выйдя из барака, Петер понял, что еще угнетало его здесь. На небе не было солнца. Алюминиевого цвета дымка давала ровное, бестеневое освещение, и поэтому все теряло объем и перспективу.

— А ночь здесь бывает? — спросил Петер.

— Бывает, — сказал Хильман. — Бывает и ночь…

Если поначалу Петеру было просто неловко, стыдно, если он пытался смотреть только под ноги и считать шаги, то сейчас добавилось и пересилило чувство необходимости искупления, — и Петер шел, не опуская глаз, и хотя ничего не изменилось: все так же лениво-равнодушно поднимались на него взгляды, и пусть ни в одном не было ничего даже отдаленно напоминающего неприязнь, Петер шел будто сквозь строй, обжигаемый этими взглядами, потому что только так имел право их воспринимать: как снисходительные похлопывания по обнаженным нервным окончаниям…

В штрафной лагерь они вошли беспрепятственно. Здесь все перемешалось, произошло наслоение разных пространств, которое бросилось Петеру в глаза еще тогда, когда он озирал окрестности сверху. Потом он научился различать, где есть что.

Бараки штрафников были сбиты на скорую руку из горбыля и побольше размером, чем бараки мертвых. Перед входом в каждый барак стоял часовой. Наконец Петер освоился с таким взаимопроникновением предметов и стал видеть как реально существующие лишь сооружения штрафного лагеря, а бараки мертвых казались лишь прозрачными картинками. И тогда он смог охватить всю картину в целом.

В центре лагеря был плац, и вокруг плаца выстроились по углам буквой «П» четырнадцать бараков. С той стороны, где бараков не было, стояли ворота. Вышки с часовыми располагались по углам плаца и по углам ограды — всего восемь штук. Террикон высился позади бараков с противоположной от ворот стороны. Петер и Хильман стояли, никем не видимые, на краю плаца. Кроме часовых на территории никого не было.

— Они что, все на работе? — не поверил Петер.

— Да ну, что ты, — сказал Хильман. — Половина только. У них режим такой, барачный. Их под небо редко выпускают, только на поверку.

В первом бараке, куда они заглянули, никого не было. Во втором — тоже. Зато третий был полон.

От огромных кнловаттных ламп, свисающих с потолка, шел жаркий, режущий глаза свет; загустевший воздух раскалялся около ламп и кислым маревом уплывал под потолок, растекаясь там между бревнами поперечин, по неоструганным доскам перекрытия. Запах стоял такой, что Петер поначалу не мог дышать совсем, да и потом долго вдыхал только ртом — а дышать нужно было глубоко, легкие требовали воздуха и жадно выцеживали из него последние проценты кислорода.

Тишины при такой плотности воздуха быть просто не могло, но прошло несколько минут, прежде чем Петер 'стал различать отдельные звуки, — различать, не понимая еще. что эти звуки производит. Это мягкое шерстяное шуршание, поскрипывание, неясный гул; в них вплетались вздохи, кряхтение, иногда — стоны. Но постепенно, будто в нем медленно крутили ручку настройки, Петер услышал тихое заунывное пение, кто-то тянул старинную солдатскую песню, и припев подхватывало — тихонько, почти шепотом — еще несколько голосов, и с этого припева Петер стал слышать голоса…

Воевать идем, мать Таисия… Помирать идем, мать Таисия… Не боись за нас, мать Таисия… Помолись за нас, мать Таисия…

…а я думаю — все. Нет больше сил терпеть. До утра дотяну и пойду на проволоку. И тут приказ — отменить экзекуции и зачислять провинности в дополнительный срок. Так вот мне счетчик и открылся, по сей день мотает, уже шесть лет дополнительных намотал…

…когда это было-то? Да, года за два до войны. Я только женился тогда, и поехали мы с женой — деньжонок подкопили да подзаняли, — угадай, куда? На море! А вот так. Слушай, отдохнули мы там — не расскажешь. Как миллионеры какие-нибудь. Вернулись, еще пожили сколько-то — и началась волынка. То меня вызовут, то ее. И ничего конкретно не говорят, а вот так намекают, что, мол, если заметите за другими что странное — так сразу и доносите. Ага, разбежались… И вот помогло же мне тогда с тещей поцапаться, а теща у меня — что твой фельдфебель…

…думал, вернусь с войны, и заживем. Заживем… Это сейчас мне тридцать два, а срок изойдет, и будет мне пятьдесят семь… только не будет, наверное…

…а самого смешного никогда не забуду: строевые занятия проводил у нас капитан, по фамилии я его не запомнил, а прозвище у него было Гиппохватам, пузатый такой, китель на него по спецзаказу шили, а ремень на брюхе не сходился, а потому ходил он без ремня, полковник, начальник школы, ему разрешал…

…двое их у меня, как вспомню, как они меня провожали, так и подступит… Папа, говорят, ты только не насовсем, хорошо? Ты повоюй маленечко и возвращайся…

…двенадцать лет мне было, а помню, как вчера: приехала черная машина, вышел из нее этакий хлыщ, полицейские тут же по домам побежали, народ собирать, ну, собрали, стоят все… Вот он выступает, по особой, мол, необходимости — в сорок восемь часов… Что там можно собрать? Дома, скот — все осталось, не разрешили скот с собой брать. Погрузили в эшелон и повезли. Месяц везли куда-то. Повезут-повезут, потом остановят, а выгружаться не дают. Так в эшелоне и жили. Переругались все, перессорились, под конец, кажется, убили бы кого — так и не заметили бы. Зима наступила. И вот останавливают раз в чистом поле, двери откатывают — выгружайтесь… А потом я на карте смотрел: где наш полуостров был — ничего нет. Море. А ты говоришь — карта…

Голоса были глухие, бессильные, не голоса даже, а будто вода сплывает с края неподвижного болотца, в рождении этих голосов не участвуют тела, просто сам воздух начинает дрожать, соприкасаясь с подкатившим к горлу комом мыслей, точно так же, как дрожит он, соприкасаясь с раскаленной поверхностью электрических лампочек, но это иная дрожь… это пройдет со временем, Петер знал это точно, он был в подвалах и лагерях ГТП, там люди переставали быть людьми и становились сложными, но однозначно и легко управляемыми механизмами, и это было необратимо, это было необратимо — достаточно было только заглянуть раз в те глаза, в тот страх и готовность на все; вероятно, несломленных просто убивали или забивали, ломая, но этих, сломленных, было много, невыносимо много, и Петер, вернувшись, долго не мог избавиться от наваждения, что во всех без исключения глазах, в глазах друзей, подчиненных, начальства, женщин, награжденных, генералов и маршалов в Ставке, чумных после боя танкистов, сестер полевого госпиталя, — в глазах кого угодно проступал этот страх и эта готовность на все… и детей они будут воспитывать в страхе, думал Петер, вернувшись, и ему казалось, что те, чьи тела ровным рядком лежали возле рва, были последними несломленными — это был период великого его отчаяния, и только бракованный капсюль пистолетного патрона оставил его тогда доживать до конца — в страхе и готовности на все ради… ради… Ну, что же ты? Говори! Говори!!! — Не знаю…

Невыносимо яркий свет затапливал барак, и сто или больше человек, лежащих на двухэтажных нарах, мучились от жары и духоты, от вшей и клопов, от неизбывного зуда, от разъедавшего кожу пота, от вони гниющей параши и загнивающих тел, и все это было заблаговременно предусмотрено для них: и вонь, и жара, и гниение заживо, и мучительное отупение от тяжелейшей работы, которая тем тяжелее, что лишена всякого смысла, — они лежали и намерены были лежать до тех пор, пока блокфризер не поднимет их и не погонит на плац для парада и рапортфюрер, стоя на трибуне, не будет орать: «Ногу! Ногу!» Двенадцать часов работы, четыре часа строевых занятий, два часа политзанятий, час на прием пищи, пять часов сна; раз в месяц выходной — это значит, что нет политзанятий, а вместо четырех часов строевых — только два часа…

Петер, чувствуя, как деревенеют скулы и веки — первый шаг к превращению лица в защитную маску, взял камеру, громко завел пружину и, установив диафрагму, стал снимать, ведя объективом слева направо; в тот постоянный звуковой фон, который стоял в бараке, жужжание камеры врезалось, как дисковая пила в бревно, но никто не пошевелился и не повернулся, только смолкла песня, смолкли голоса, смолк шорох мелких движений, все замерли, замерзли, застыли в привычном уже ожидании окрика, удара, выстрела, — в гордых саперах инженера Юнгмана успели убить гордость и выработать несколько примитивных рефлексов… убить или заставить, приучить прятаться, притворяться отсутствующей — что, в общем-то, одно и то же. Петер снимал, пока хватило пленки. Потом кто-то, не поворачиваясь, сказал: «Уйди, майор. Уйди, ради бога. Тебе-то все равно, а мы тут остаемся…»

Мы остаемся тут, а ты уйдешь. Мы остаемся за проволокой, а ты уйдешь. Мы остаемся тихими, без голоса и воли, без права жить и думать, а ты уйдешь. Ты уйдешь и будешь думать, что ты на свободе — потому что проволока будет не вокруг тебя, а вокруг границы, и там же вышки с часовыми. И, не видя проволоку вблизи, ты будешь считать себя свободным и даже сможешь воспевать эту свободу и ходить по улицам после наступления темноты, потому что у тебя есть пропуск, и уж конечно ты не будешь делать ничего такого, чтобы у тебя пропуск отняли, а самого поместили туда, где проволока не за горизонтом, а вблизи. А здесь, майор, есть место, где проволока еще ближе, так близко, что можно только стоять, держа руки по швам, потому что вокруг тебя проволока. Так мы и рождаемся — руки по швам, и горды тем, что намерены и тверды в этом своем намерении: умереть, держа руки по швам; а если кто-то забывает, что это высшая добродетель, которую должен блюсти каждый благонадежный гражданин Империи, то ему можно мягко напомнить об этом, постепенно перенося проволоку из-за горизонта к самым рукам — так, чтобы их можно было держать только по швам. Так — руки по швам! — мы идем по жизни, распевая маршевые песни, с которыми легче идти и которые забивают в голове все прочие мысли, идем, стараясь держать равнение в шеренгах и видеть грудь четвертого, и любое отклонение от равнения воспринимаем как нарушение и едва ли не крушение строя — во всяком случае, покушение на оное; воспринимаем сами, никто не велит нам это так воспринимать, просто это впитано с молоком матери — видеть грудь четвертого и держать руки по швам.

…а какой, оказывается, лакомый пряничек — свобода! Нельзя давать его слишком помногу, потому что у населения начинает кружиться голова и разбегаются глазки, а с закруженной головой они мало ли что могут подумать: может быть, и не должно быть границы у этой самой свободы? А с другой стороны, нельзя ее отнимать совсем, потому что вкус ее должен помнить каждый, и время от времени невредно освежать эту память. И тогда, дав совсем небольшой кусочек свободы в повседневное пользование, как-то: перенеся колючую проволоку к границам и разрешив перемену места работы, а также безлимитное посещение кинотеатров и бань, — и угрожая отнятием этого кусочка, понемногу, сами понимаете: за маленькую провинность маленький кусочек, — так вот, при умелом регулировании размеров этого кусочка можно заставить население творить абсолютно все: умелого манипулятора будут превозносить до небес, производя в полубоги, а неумелого будут молчаливо осмеивать, не осмеливаясь, впрочем, признаться в этом даже себе.

Итак, эластичный поводок и кусочек сахара — и гордый «го-мо сапиенс» превращается в гордого собой «гомо сервуса», человека служебного, — правда, не каждый, но тут-то и вступает в игру некий репрессивный орган. Сорную траву с поля вон! — и на поле остается отборная пшеница, колос к колосу, голос к голосу, и так из года в год, а потом на пшеницу нападает вдруг пятнистая парша, и открывается тогда, что сорные васильки от этой парши пшеницу раньше и спасали… И тут либо приходится признавать агротехнические ошибки и делать шаг назад или уж ломить вперед, до логического конца. Что мы и делаем.

Но любая система дрессировки и выбраковки, как бы точна она ни была, не в состоянии охватить весь массив личностных различий, и кто-то ускользнет от нее, а кто-то окажется невосприимчив, а кто-то станет ее убежденным врагом — не потому, что он родился врагом, а сама система сделала из него себе врага; системе, чтобы существовать, нужен враг, ибо без врага не нужна система. Так уж получается, что вакантные места врагов заполняются моментально, такова уж наша природа, и наказание любого виновного в непокорстве системе — как бы ни была сформулирована его вина — служит не к исправлению заблудшего и не к наставлению его на праведный путь, а лишь к сепарации тех, кто поддается принятым методам дрессировки, от тех, кто им не поддается; последние изолируются или уничтожаются, по обстановке. В умелых руках эта система почти безотказна, но часто дрессировщики, увлеченные ее эффективностью, забывают о руках и начинают считать, что безотказность присуща самой системе…

— Очнись, — Хильман толкнул Петера локтем в бок.

— Да, — сказал Петер. — Да, конечно.

— Все увидел? — спросил Хильман, и голос его был странный, совсем не хильмановский голос — скорее голос того Хильмана, что навещал Петера в его бреду, голос, которым тот, призрачный, Хильман требовал доказательств дружбы…

— Пойдем, — сказал Петер.

Они повернулись, и вдруг в спину им ударил крик: «Майор! Генералу скажи — я ни в чем не виноват! Юзеф Поплавски, сапер, — ни в чем не виноват! Генералу! Скажи генералу!» — «Молчи, сука, — негромко, но веско, разом перебив крик, сказали Юзефу Поплавски, саперу. — Молчи, гнида. Из-за тебя весь барак без баланды оставят». — «Эка невидаль — не виноват», — сказал еще кто-то. И кто-то прошептал: «А правда, скажи генералу, пусть разберется…» И тут от двери тонким, прерывающимся голоском кто-то пискнул: «Атанда! Блокфризер идет!» — и Хильман, ухватив Петера за руку, рванул его из барака наружу, и, сразу окунувшись с головой в чистый холодный воздух, Петер понял вдруг, что дышать им не может, он хватал этот воздух ртом, насильно гнал в легкие, но воздух, дистиллированный и разряженный, никак не мог наполнить грудь, и Петер понял, что сейчас задохнется, и страх, такой смертельной силы страх, какой он испытывал едва ли когда еще, обрушился и подмял под себя все; это длилось мгновение, но за это мгновение, показалось Петеру, он успел раствориться и родиться заново, и, когда он вновь ощутил себя таким, какой он есть, то есть стоящим на земле, он понял, что наконец вдохнул, вдохнул полную грудь этого проклятого воздуха и сможет отныне дышать — отныне и далее, до самого конца…

Расстались с Хильманом легко, будто до завтра, но Петер знал, что это насовсем, потому что такое может быть только однажды. Хильман звал его к берегу Стикса, но Петер не пошел — не захотел. По разным причинам. Просто не захотел, и все. Может человек чего-то не хотеть, не вдаваясь в объяснения? Может, согласился Хильман и не настаивал.

Он сказал еще, что Петер подсказал ему замечательную мысль: обойти всех тех, кого он зовет своими друзьями, и посмотреть, как они там. Петер подумал, что долго Хильман не продержится, но иллюзии потеряет; однако отговаривать не стал — бесполезно отговаривать.

Они пожали друг другу руки, Хильман пожелал Петеру дотянуть до конца, а Петер не нашелся, что пожелать в ответ, и Хильман усмехнулся понимающе, ткнул его кулаком в плечо, повернулся и пошел обратно — по направлению к лагерю. Он отошел несколько шагов и исчез. Не то растворился в тумане, не то просто сделался невидим. И Петер, еле переставляя ноги, поплелся к своим.

Он тащился, сгибаясь под тяжестью сегодняшнего дня, и больше всего ему хотелось сейчас упасть и никогда уже больше не подниматься, но встречи, отпущенные ему судьбой на этот путь, еще не все состоялись, и вскоре сверху его окликнул очень знакомый голос, и Петер, наверное, просто ждал подспудно, что этот голос когда-нибудь окликнет его, потому что не удивился, не обрадовался и не испытал вообще никаких эмоций, а просто сказал:

— Я к тебе туда не полезу. Спускайся и поговорим, если хочешь.

Сверху упала веревка, и по веревке ловко, как большая грязно-зеленая обезьяна, спустился Баттен.

— Привет, — сказал Баттен добродушно, но взгляд его был настороженный: а как воспримет бывшее начальство появление блудного техника?

— Решил отлежаться? — хмуро спросил Петер. — Умнее всех хочешь быть?

— Всех-то не получится, — сказал Баттен. — Как, например, умнее генерала можно оказаться? Но в меру сил и способностей…

— Тебе чего нужно? — спросил Петер. — Ты говори, а то я не могу — устал, как не знаю кто.

— Холодает, — сказал Баттен.

— Ладно, — сказал Петер, — придумаю что-нибудь.

— Придумай пару бочек солярки, — сказал Баттен. — Жратвы мне на полгода хватит, а вот если морозы…

— Заскучаешь за полгода-то, — сказал Петер.

— Нет, не заскучаю. — Баттен потупился. — Ко мне друзья заглядывают, то-сё… За полгода тут все кончится, это уж точно. Еще чуть-чуть, и завалится этот мост к энной матери, как его медленно ни строй. Ивенс этот такой строитель, что не дай бог его в скорняки: из снега тулуп сошьет и за соболий продаст — ловкач! Смотрю я на него из своего далека — и прямо сердце ноет: ну почему я так не умею?

— Думаешь, ловкач? — раздумчиво сказал Петер.

— Ловкач, — уверенно сказал Баттен. — Уж я-то чую.

— Зря ты нас бросил, — сказал Петер. — Период пошел сложный, воевать нам приходится на два фронта, а у тебя рука легкая.

— Ты, старик, никогда хорошим нюхом не обладал, — сказал Баттен. — А я всегда чую, когда начинает порчей шкурки подванивать.

— Станут они тебе шкурку портить, — сказал Петер. — На кой ты им — мараться?

— Ты как вчера родился, — сказал Баттен. — Я вообще на тебя изумляюсь, как такие субъекты до половой зрелости доживают? И зачем, главное? Был бы себе ребеночком, умненьким таким — на радость папе с мамой. А то вырос, майором заделался… пардон, прими мои поздравления, я ведь не успел тебя тогда поздравить? Или успел? Впрочем, не помешает и лишний раз… так вот — вырос, заделался подполковником, пост такой значительный: Заготовитель Правды, Поставщик Двора Его Императорского Величества! Эх, Петер, Петер…

— Что «эх»? Почему мне все говорят «эх»?

— Да ведь ты же ни черта не видишь вокруг себя. Ты ни черта не понимаешь, не чуешь и не чувствуешь. Ни черта не слышишь. У тебя всегда такая гордая рожа, будто тебе под нос кусочек говна подвесили. Ты к людям-то присматривался когда-нибудь? Не к тому, что они делают, или как вы там говорите — созидают, а к ним самим, к лиц выражениям, к… а, что тебе толковать! Ты скажи, за последнюю неделю каких-нибудь перемен в том, что ты ешь, не было?

— Нет, вроде, — пожал плечами Петер. — А что?

— А то, что пока я с вами был, ты с генеральской кухни жратву получал, а теперь, я думаю, с общей. Ну-ка, напрягись, припомни.

— М-м… кажется… Кажется, да. Точно. Последнюю неделю все каша да каша…

— Вот. Очень наглядно. А туда же — борец за правду. Ты ведь не знаешь правды и знать ее не можешь, потому что на мелочи тебе плевать, тебе общие планы подавай, ты их и лепишь, эти общие планы… Я понимаю — характер у тебя такой, и не приучен ты мелочам внимание уделять, ты ими брезговать приучен, приучен брезговать мелочами и сегодняшним днем, ты думаешь, что это недостойно пристального рассмотрения, что главное — это обязательно что-то большое и обязательно устремленное в завтрашний день…

— Ты меня совсем каким-то ослом выставляешь, — сказал Петер.

— Ты и есть осел, — сказал Баттен. — Если хочешь знать, на таких, как ты, все и держится.

— Это ты загнул, — сказал Петер.

— Ничуть, — сказал Баттен.

Они помолчали, и Петеру представилась вдруг во всей красе нелепость каких-либо возражений на эту голую истину — да, господа, истину, таким уж я уродился, таким выкормлен и выбит, чтобы не обращать внимания на детали быта и вообще все суетное и преходящее, а видеть явление целиком и проникать в суть и обобщать с точки зрения прогрессивной философии пангиперборейства — а ты ее знаешь, ту философию? Вот то-то и оно…

И вообще все это действительно неважно, а важно то, что жив

Баттен, что сработало его чутье и что, доверяя чутью Баттена, порох надо держать сухим.

— Пойду я, — сказал Петер. — Значит, солярки…

— Пожалуйста, — сказал просительно Баттен, и Петер вспомнил, что Баттен мерзляк и всегда кутается во что-нибудь теплое.

Интересно, почему они мне все доверяют: и чокнутый Шанур, и дезертир Баттен, с усталым недоумением думал Петер. Более того: почему я допускаю, чтобы они мне доверяли и втягивали меня в самые разные подрасстрельные истории? Как у меня там с инстинктом самосохранения? Петер прислушался к себе. С инстинктом было хреново: весь замордованный, он свернулся калачиком где-то на дне и тихонько подскуливал. Бедняга, пожалел его Петер, и инстинкт слабо огрызнулся: себя пожалей.

А в блиндаже господин Мархель устраивал разнос младшим операторам. Он сидел за столом, на котором горой громоздились катушки с пленкой и прочие атрибуты киношной деятельности, и выговаривал за развал работы, а операторы стояли навытяжку: Армант внимал ему со скукой, Шанур — с тишайшим бешенством в глазах.

— А вот и главный виновник, — сказал, поворачиваясь всем корпусом, как самоходное тяжелое штурмовое орудие «Элефант», господин Мархель; только сейчас Петер усек, что он в дрезину пьян. — Итак, господин под-пол-ковник, объясните-ка мне, соблаговолите, как вы понимаете политику нашего Императора в области… Смир-рна! Стоять, как подобает, когда речь идет о Его Величестве!.. как вы понимаете своей брюквой, которая у вас растет на месте наблюдательно-мыслительного органа, в просторечии…

Петер повесил камеру на гвоздь, подошел к господину Мархелю вплотную и четко, сдерживая себя из последних сил, произнес:

— Господин советник, потрудитесь покинуть наше общество. Вы находитесь в состоянии, недопустимом для продолжения разговора.

— Т-ты!.. — клокотнул господин Мархель и стал подниматься из-за стола, цапая себя за задницу, где должна была находиться кобура, и тогда Петер ему врезал. Ох, и много же он вложил в этот удар! Все, что лежало на столе, так и брызнуло в стороны, и ноги господина Мархеля, обутые в мягкие шевровые сапоги, взметнулись над столом буквой «V» — символом победы и возмездия. Потом он тяжело грохнулся на пол по ту сторону стола и затих.

Немая сцена: Петер придерживает левой рукой правую, потому что правая занемела и ниже локтя ее будто бы нет совсем, поэтому он непроизвольно ее там ощупывает, чтобы убедиться, что она все-таки есть; Армант и Шанур растеряны до предела, такого оборота событий они не ожидали, и теперь не могут вспомнить свои действия и реплики в этом варианте. Пять секунд, десять секунд… Кончилась немая сцена.

**Армант.** Вы что, вы что?.. Совсем уже? *(Чуть не плачет; огибает стол, наклоняется над господином Мархелем.)*

**Шанур**. Бог ты мой! Какой апперкот! Какой классический апперкот!

**Армант.** Господин советник? Господин советник? Не дышит! Что же будет? Что вы наделали? Что вы наделали? Нас же всех расстреляют!

**Шанур.** Перестань скулить! Петер… *(Не может словами выразить свои чувства, поэтому делает жесты, будто рвет на себе волосы и подбрасывает их вверх; в тех местах, откуда Шанур родом, это означает проявление наивысшего ликования души.)*

**Петер.** Да ну вас. Сами не могли послать его подальше… А как он ногами!

**Шанур.** А как он ногами! Я никогда не забуду — как он ногами! *(Начинает хохотать. Он хохочет громко и совершенно неэстетично, широко раскрывая рот и задирая голову, при этом звуки возникают такие, будто в горле у него работает небольшая камнедробилка.)*

**Петер.** Да ну вас… Ну вас всех… *(Скисает от смеха, отходит, держась за живот, и валится на кровать; дальше хохочет лежа.)*

**Армант.** Господин советник? Вы живы? Ну откройте же глаза. Не открывает. Что же будет? Вы что — с ума посходили? Не понимаете ничего? *(Внезапно тоже начинает смеяться; сквозь его страх прорывается странный рваный смех, иногда усилием воли Арманту удается сдержать смех и сделать скорбное лицо, но это на секунду, не более: губы начинают кривиться, и он вновь захлебывается смехом, только в глазах мелькает паника, как у настоящего утопающего.)*

**Петер.** Оставь его, Ив. Проснется утром и ничего помнить не будет.

**Армант.***(с надеждой).* Вы думаете?

**Петер.** Ты что, сам никогда не надирался?

**Армант.** Хоть бы обошлось…

**Шанур.** Да ладно тебе. Запричитал…

Господина Мархеля общими усилиями подняли с пола и уложили на кровать Арманта. Обморок его скоро перешел в сон, он задышал глубоко и ровно, потом захрапел. Под утро он привел постель Арманта в негодность, но не проснулся.

Рапорт, подготовленный Петером, в кратком изложении трактовал события так: господин советник в нетрезвом виде угрожал оружием подполковнику Милле, был подполковником обезоружен и обездвижен. Просьба не предавать инцидент огласке. Однако подавать рапорт не пришлось, так как господин Мархель, проснувшись поздно и с тяжелой головой, несколько сконфузился, потрогал припухшую челюсть, извинился перед младшими операторами за причиненное беспокойство и, кое-как приведя себя в порядок, удалился. Через час он вызвал Петера и еще раз принес свои извинения; как Петер понял, о событиях вчерашнего вечера он имеет весьма смутные и спутанные представления. Потом господин Мархель сказал:

— Мне кажется, мы несколько расслабились и позволили себе… позволили расслабиться… да. Туман, снижение темпов работ, некоторая, я бы сказал, некинематографичность происходящих событий; но тем более надо собраться с мыслями, проявить определенную фантазию, мастерство, талант, наконец. Я прошу вас сегодня вечером в штаб генерала на совещание. Подумайте, не внести ли какие-нибудь изменения в сценарий? Да, и вот еще что: я вызвал усиление, и завтра прибудут еще несколько человек из вашей редакции, а во-вторых, есть информация, не слишком, правда, достоверная, что наш техник не был похищен агентурой, а просто дезертировал; прошу вас, попытайтесь проверить и, если возможно, опровергнуть эту информацию. Вам это сделать проще, чем мне.

— Слушаюсь, — сказал Петер.

— Ах, подполковник, оставьте этот официальный тон! Ну какой вы, к черту, военный? А я? Зачем нам этот барьер субординации? Давайте на «ты» и по именам? Хотя бы без посторонних.

Петер понимал, что медлить при ответе нельзя, что самое неудачное было бы помедлить и сказать «да», поэтому он без внешних проявлений сомнения и брезгливости протянул руку и сказал:

— Петер.

Господин Мархель руку принял, пожал — кисть у него была вялая и горячая — и сказал:

— Гуннар!

В голосе его была какая-то неподобающая случаю значительность.

Только позже Петер понял суть этого перехода на «ты» и далее — к разнузданному амикошонству. По въевшейся привычке господин Мархель намерен был поменять местами причину и следствие, чтобы после некоторой временной экспозиции казалось: вот были старые кореша, Гуннар и Петер, и Гуннар схлопотал в рыло от Петера, и ничего особенного в этом нет, то ли еще бывает между старыми корешами, это вам не от подчиненного плюху получить, да еще при свидетелях…

Туман не поредел, и внизу, у стапеля, стало просто невозможно находиться: смешиваясь с соляровым чадом, туман превращался в нечто непереносимое, едкое и для дыхания непригодное, а оседая на камне, образовывал скользкую, как сало, пленку, по которой катились даже рифленые подметки итальянских хваленых ботинок, и дважды Петер припечатывался к земле-матушке весьма чувствительно. Работа почти стояла. Петер поискал и нашел Козака, и Козак рассказал ему, что за последние три дня удалось поставить лишь одну секцию, и пока ничего не предвидится, потому что все порастеряли, новые начальники-выдвиженцы ни хрена не умеют, крепежных узлов опять некомплект, а площадка загромождена неочередными секциями так, что пешему не пройти. «Бардак», — резюмировал он.

Инженер Ивенс пытался организовать рассортировку на монтажной площадке, но ничего лучшего, чем просто побросать секции в каньон, он не придумал. Несколько секций сбросили, а потом вниз сорвался трактор, и тракторист выпрыгнуть не успел. Ивенса опять чуть не пристрелили.

Дважды на глазах у всех, и у Петера в том числе, солдаты комендантского взвода подходили к офицерам-саперам и уводили их.

Затем Петер подслушал интересный разговор:

— Пять против одного на Крюгера.

— Принято.

— Три против одного на Нооля.

— Принято.

— Семь против трех на Ивенса.

— Принято.

— Два против одного на сержанта Дегенхарта.

— Принято.

— Двадцать пять против одного на оператора Шанура.

— Принято.

Петер заглянул за угол трансформаторной будки. Саперы окружили человека в плащ-накидке, в руках у него были билетики, которые он раздавал, помечая что-то в них и в блокноте; деньги, получаемые от саперов, он складывал в полевую офицерскую сумку. Полагаясь на свою невидимость, Петер подошел поближе и взялся за камеру. В грохоте и лязге, производимом механизмами, в гудении, исходящем от трансформатора, услышать звук работающей камеры было невозможно, однако человек с билетиками поднял голову и подозрительно огляделся, но Петера не увидел. Это был адъютант генерала Айзенкопфа майор Вельт.

Петер, Шанур и Козак курили в той самой пещерке, где когда-то жгли костерок и пили хороший чай в теплой компании. Козак рассказывал самые распаскуднейшие новости. Не таясь, комендатурщики подходили к саперам и требовали от них доносительства. Если кто-то отказывался, его уводили; если кто-то соглашался, но не выполнял, — его тоже уводили. Был выпущен и распространен специальный бланк «Для донесения», в котором все излагалось типографским способом и оставалось лишь подставить имя и фамилию. С прошлой недели якобы неофициально работает тотализатор, и что из этого выйдет, еще неясно. Все смотрят друг на друга с опаской. Если так пойдет и дальше…

Петер рассказал немного о лагере. Шанур смотрел на него с открытым ртом, а Козак выслушал почти равнодушно и проворчал: «Ясное дело…» Они докурили и разошлись.

Совещание у генерала открыл сам генерал.

— Думаю, можно подвести первые итоги, — сказал он. — Хотя ускорить темп работ не удалось, но в остальном успехи большие. Выявлено и изолировано либо уничтожено тысяча пятьсот два агента врага. Прорыто сорок пять метров туннеля под каньоном. Проведена замечательная кампания по наглядной агитации. Как я понимаю, взятое нами направление совершенно верное. Гуннар, когда ты намерен закончить фильм?

— Видишь ли, — сказал господин Мархель, — речь еще не идет о завершении фильма. Речь идет о продолжении съемок и возможном перемонтаже некоторых сцен.

— Пора уже думать о завершении, — возразил генерал.

— О завершении я думаю с самого начала, — сказал господин Мархель. — И я считаю, что приступать прямо сейчас к завершению еще рано.

— Почему? — удивился генерал.

— Потому что мост еще не построен.

— Ну и что?

— А то, что дезинформировать Императора нам никто не позволит.

— Ну, а если его построят только к лету?

— Значит, придется объяснять, почему так получилось.

— Ну и почему же?

— Да боже ж ты мой! Ты что, слепой, Йо? Каждый третий строитель оказался предателем! Кто же в таких условиях может выдержать сроки?

— Да-да-да… — Генерал побарабанил пальцами по столу. — Видишь ли, Гуннар, я уже послал Его Величеству прошение о продлении сроков строительства…

— Ясно, — сказал господин Мархель. — А как было написано: просто «Отказать» или с подробностями?

— С подробностями, — сказал генерал.

— Значит, сам писал, — вздохнул господин Мархель. — Ну что же делать, придется…

— С такими, знаешь, подробностями…

— Не переживай.

— Да я ничего.

— Вот я и говорю. Не такое мы с тобой переживали. Не такое осиливали.

— Правду говоришь. Только как все-таки быть? Я ведь в строительстве этом ни ухом пи рылом, сам знаешь. Если бы мог, так вмешался бы, взял бы на себя руководство…

— Положись на меня, — сказал господин Мархель.

— А знаешь, что еще в ответе Императора было? Что мы не уделяем внимания возвеличению императорской фамилии, отсюда все наши беды. Поставили памятник какому-то там инженеру, а до сих пор нет памятника Императору… пардон, не памятника, а скульптуры. Кто-то настучал, вот он и сердится.

— Да, это мы упустили, — согласился господин Мархель. — Не с того конца взялись. Но это еще не поздно исправить. Вмонтируем в ленту, и вся недолга. Будто бы летом еще поставили.

— Тогда надо успеть хотя бы до снега.

— Надо успеть. Это уж все в твоих руках.

Затем выслушали майора Вельта. Майор очень подробно разъяснил механизм выявления агентов с помощью тотализатора. Кроме того, сообщил он, тотализатор будет давать небольшой, но верный доход казне. Кроме того, личный состав будет получать моральное удовлетворение от реализации своих прогнозов. Деятельность майора Вельта была одобрена.

Ох, и изменился майор! Петер искоса разглядывал его ставшее необычайно значительным лицо, гордо развернутые плечи и выпяченную грудь, будто майор навсегда задержался на глубоком вдохе. Смотрелся майор на полковника — минимум, а то и на генерал-майора. Далеко пойдет, подумал Петер. Потом он вспомнил лагерь. Далеко пойдет…

— А со скульптурой мы выкрутимся очень просто, — сказал Петер, когда майор сел. — В реквизите, который привезли с собой диверсанты — ну, те, которые выдавали себя за киногруппу, — там у них есть скульптура Императора. Она, правда, из папье-маше, но раскрашена под мрамор, так что вряд ли кто-нибудь это заметит, особенно если постамент сделать повыше.

Генерал и господин Мархель переглянулись.

— Что же ты раньше-то молчал? — укоризненно сказал господин Мархель. — Догадаться не мог, что ли?

— Сценарием же не было предусмотрено, — сказал Петер, разводя руками.

— Так ведь все разве предусмотришь? — сказал генерал. — На то и задница мягкая, что не все стулья с подушками.

— Верно, верно, — сказал господин Мархель. — А постамент, наверное, сделаем из секции моста. Очень символично получится.

— Очень символично, — сказал генерал. — Император на какой-то клетке. Ты бы думал сначала, а потом уж…

— Ни на какой не на клетке, — горячо возразил господин Мархель. — Все знают, что это секция моста. А чтобы вообще не возникало никакого ненужного ассоциирования, секцию эту можно обшить фанерой или шифером… изнутри, да, точно — изнутри обшить, и тогда вся структура будет на виду, и в то же время — никаких ассоциаций с клеткой.

— Ну, так еще можно, — сказал генерал. — Давай, Вельт, ты этим и займешься. Чтобы к утру все было как надо.

— Почему это я? — капризно сказал майор Вельт. — Мне за сегодняшни день еще восемнадцать агентов выявить надо.

— Р-разговорчики! — сказал генерал. — Р-разбаловался! Выполнять!

— Есть, — сказал майор с нехорошей сдавленностью в голосе. Он четко повернулся и вышел. Генерал с нежностью поглядел ему вслед и вздохнул.

— Не люблю на людей шуметь, — сказал он. — Но вот приходится иногда…

А утром выпал снег. Петер встал очень рано, не спалось, и вышел из блиндажа в совсем иной мир. То, к чему он привык и без чего уже не видел окружающего его пространства: переплетения черно-ржавого железа, глыбы бетона, глыбы камня, горы щебня и просто горы — все это оказалось вдруг прикрыто пушистым и совсем не холодным покрывалом, и только местами из-под него высовывались особо острые углы, как локти и колени покойников, почему-то Петеру пришло на ум именно это сравнение, потому, может быть, что именно такое свежеприкрытое поле он видел прошлой зимой, после неудачного наступления на северо-западе… Снег не взбодрил его, а расстроил. Впрочем, расстройство в чувствах не помешало ему растереться до пояса этим самым снегом, приведя тело в состояние, сравнимое с радостью.

По снегу местами были протоптаны дорожки, колеи и дороги, и внизу, у стапеля, снег моментально приобрел серо-черный цвет, как вокруг свежей воронки, и тем не менее пейзаж сменил очертания, и мир стал обманчиво велик и чист.

Петер ждал пополнение к вечеру, но они объявились уже в девять утра: взвизгнув тормозами, остановился знакомый полугрузовичок, и Петера, размышлявшего о дне минувшем, облепили с трех сторон Камерон, Менандр и Брунгильда. Из машины улыбались Эк и сам Летучий Хрен — оба в теплых шапках, оба довольные, что так все хорошо устроили… Петер, как ватный клоун, неловко топтался на месте и прятал руки, потому что они постоянно натыкались на Брунгильду, потом она сама обняла Петера, ставшего вдруг маленьким и слабым, утопила в себе и, утопив, поцеловала в губы — так, слегка… «Закраснелся, как девочка! — хохотал Камерон, лупя Петера по гулкой спине. — Отвык тут от нормального обращения, скажи ему, Брунгильда!» — «А то он привыкал когда-то, — отвечала Брунгильда, — это же Петер-послушник, а не вы, кобели похотливые!» — «Ну, вы и живете, я посмотрю, ну и дрянь у вас тут, — говорил Менандр, озираясь, — нет, я этого так не оставлю…»

— Ну, докладывай, — сказал, наконец, Летучий Хрен, когда все было развешано по гвоздям и растолкано по углам, когда угомонился Камерон и скрылся куда-то Менандр, младшие операторы привели себя в соответствие с моментом, а Брунгильда расположилась на кровати Петера в свободной позе, греясь в перекрещивающихся взглядах и чувствуя себя в этом перекрестии свободно, как, скажем, кинозвезда в лучах софитов.

— Работать очень трудно, — сказал Петер. — Советник не просто вмешивается, а начисто лишает возможности делать что-то самостоятельно. Все съемки только по сценарию, кое-что я пытался делать от себя — запретил и теперь учитывает всю пленку до последнего метра. Как я понимаю, по плану мост уже должен быть сдан, поэтому все, с чем саперы столкнулись в действительности, считается несуществующим. В сценарии есть поистине кретинические моменты, но мы должны работать под документ. Масса создания ситуаций, пересъемок, фальсификации, игра монтажом. Все.

— Кое о чем я догадывался, — сказал Летучий Хрен. — Но ты был бы не ты, если бы не делал все поперек. Так ведь?

— Поперек — нечем, — сказал Петер. — Пленки едва хватает на вдоль. Я же говорю, он проверяет все до метра.

Летучий Хрен покивал головой.

— Хорошо… да. Значит, сенсаций не будет? — не то чтобы спросил, а почти с уверенностью произнес он.

— Будет пленка — попробуем что-нибудь сделать, — сказал Петер.

— Какое! — сказал из угла Шанур. — Поздно что-то делать. Такие сцены упустили!

— Ну, стройка-то еще не кончена, — сказал Петер.

— Ладно, насчет пленки — это я подумаю, — сказал Летучий Хрен. — Ну и, наверное, попробую побеседовать с советником. Пусть он войдет в положение — мы ведь даем не только пропагандистский материал, нам нужна и информация.

— По-моему, это бесполезно, — сказал Петер. — Я пробовал.

— То ты, а то я, — возразил Летучий Хрен. — Разница?

— Посмотрим, — сказал Петер.

В тот день, хоть этого никто и не ожидал, прибыло пополнение и саперам. Колонна грузовиков, две зенитные самоходки, впереди — «хорьх»-амфибия с огромным седым саперным майором, все это вторглось в черно-белый мир ущелья и загудело, замелькало, заговорило. Шестьсот новобранцев, стриженных наголо, в новеньких шинелях, в войлочных теплых сапогах, выстроились неподалеку от штаба, и майор, придерживая правой рукой положенный по уставу кортик — никто из саперных офицеров не носил кортиков! — отправился докладывать генералу о прибытии. Его не было долго. Потом в штаб проследовал конвойный наряд. У Петера заныло под ложечкой. Через десять минут майора, уже без кортика, без ремня и без шапки, со скрученными за спиной руками, вывели из штаба и повели к обрыву. Он не хотел идти, упирался, его подталкивали; потом он плечом отбросил конвоира и хотел что-то крикнуть своим, но офицер, старший наряда, выстрелил из пистолета ему в затылок. Майор упал. Строй саперов заволновался, но тут с двух сторон ударили поверх голов зенитные пулеметы. Саперы повалились на снег. Солдаты комендантского взвода оцепили их и повели в глубь ущелья. Петер, не переставая снимать, пошел следом. Саперов положили на землю, огородили то место веревкой с флажками и поставили пулеметы. Тут же разбили палатку, внесли в нее печку, стол и несколько стульев, и майор Вельт с подручными стал проверять, кто есть кто.

— Фамилия?

— Кейнолайнен.

— Имя?

— Антон.

— Национальность?

— Гипербореец.

— Место рождения?

— Село Муетарлянц Северо-Йепергофского уезда.

— Отношение к религии?

— Чту Императора!

— Не католик?

— Ни боже мой!

— А то у вас там много католиков.

— У нас? Много?

— А чем, скажи мне, отличается свобода совести от свободы вероисповедания?

— Не понимаю вопроса. Спросите еще раз.

— Ладно, обойдется. Знал ли ты, что ваш командир — предатель?

— Нет, господин майор. Клянусь, не знал.

— Где же твоя бдительность, сапер?

— Да господин майор, я же в этой части вторую неделю только, а командира всего раз и видел-то до сих пор, это любой на моем месте не заметит ничего такого…

— Нашлись патриоты, заметили… Ладно. Ваша часть расформирована, тебя определят в другую. Служи, сапер. А главное — будь начеку. Враг не дремлет. Чуть что заметишь подозрительное — сразу ставь меня в известность. Не командира части, а меня. Понял?

— Так точно, господин майор!

— Следующего! Фамилия?

— Суливан.

— Славянин, что ли?

— Никак нет, господин майор, чистокровный гипербореец!

— Странная фамилия… Имя?

— Франклин.

— Еще лучше! В лагерь его, запишите.

— Господин майор!..

— В лагерь, в лагерь. Еще славян мне тут не хватает… И так далее.

Петер ушел.

Не могу больше, думал он. Не могу. Все. Я кончился. Все терпение мое и вся выносливость — кончились. Не могу… Только сейчас он заметил, впервые за много дней — а правда, сколько дней я тут провел? — сидящих на скалах воронов, сидящих и ждущих; временами то один, то другой снимались с места, делали круг над стройкой и возвращались. Издалека доносился вороний ор, и вот несколько сразу снялось и полетело куда-то. Ждут, подумал Петер. Сидят и ждут.

Статуя Императора, вознесенная на постамент, кого-то или что-то смутно напоминала, но Петер так и не смог вспомнить кого. Ее тоже припорошило снегом, лавровый венок на голове Его Величества приобрел вид прелестной зимней шапочки, а римская тога обзавелась меховой опушкой. Император хорошо подготовился к зиме, подумал Петер.

И вдруг до него дошло по-настоящему, что начинается зима.

Поскольку открытие статуи Императора должно было состояться еще летом, пришлось расчищать снег в секторе съемок. Там, где метлами было не достать, поработали огнеметами. Получилось даже лучше, чем можно было желать: беломраморный Император замечательно контрастировал с закопченной скалой — это с одной точки съемки, и с клубами черного дыма — с другой. Господин Мархель был доволен. Летучий Хрен, имевший с ним беседу, вернулся слегка не в себе, посмотрел на Петера и молча развел руками. Камерон, тоже молча и по секрету от остальных, дал Петеру заглянуть в свой чемодан. Чемодан был набит коробками с лентой. Петер потряс Камерона за плечи, и тот широко ухмыльнулся.

Неведомо куда пропал Шанур. Он ушел сразу же после встречи с пополнением и не появлялся. Никто его не видел, не слышал и вообще не имел представления ни о каком Шаыуре. Поначалу Петер просто беспокоился, потом испугался. Майора Вельта нигде не было. Наконец, уже вечером, почти ночью, Петер, обегавший всю стройку и ее окрестности, догадался заглянуть в генеральскую квартиру. Он прошел сквозь часовых, сквозь дверь, сквозь дремлющего за столом капитана-кавалергарда и подполковника-адъютанта, — он проходил сквозь них с отчетливым злорадством вора, взламывающего сверхнадежный и немыслимо секретный замок, — и оказался в комнате генерала. Здесь забавлялись. Генерал босыми ногами стоял на карте полушарий и изображал из себя статую Императора: так же точно держал руку и так же откидывал голову, замысловато, но похоже на венок повязанную зеленой медицинской косынкой; господин Мархель с булавками во рту мычал что-то, прилаживая на нем простыню. Голый майор Вельт — то есть не совсем голый, на нем были все-таки сапоги, ремень, майорские погоны и фуражка — лежал на полу в позе Данаи, ожидающей золотого дождя. На столе и под столом громоздились разнообразные бутылки. Стоял непонятный приторно-сладкий запах.

Петер считал себя привычным ко всему, но от этого его почему-то замутило. Он отступил назад, в стену. На холоде ему стало легче.

Нашел Шанура Козак. Шанур сидел на самом дальнем звене моста, свесив вниз ноги, и пел что-то заунывное. На обратном пути, когда Козак вел его, безвольного, приобняв за плечи, Шанур вдруг расплакался и наговорил всякой всячины, которую Козак не может, да и не хочет передать. Забирайте его. Пусть отдыхает.

Летучего Хрена почему-то поселили отдельно, у штабных, а остальные разместились все вместе, благо блиндаж был просторен. Брунгильде отвели каморку, предназначавшуюся поначалу для фотолаборатории, но Баттен оборудовать ее там не стал, предпочитая почему-то работать в палатке. Из каморки выгребли разный хлам и завесили проем двери брезентом.

— Сегодня отдохну, — сказала Брунгильда, выглядывая из-за брезента, — а с завтрашнего дня начинаю прием. Сами устанавливайте очередь. Выходной — воскресенье. Спокойной ночи.

— Не возбуждайтесь, мальчики, — посоветовал Камерон, заворачиваясь в одеяло. — Тетя шутит.

— И не думаю, — сказала Брунгильда из-за занавески. — Что я, дура — такими вещами шутить?

Посмеялись, повозились, уснули. Ночью Петер проснулся от звука легких шагов. Брунгильда босиком, в одной рубашке, тихонько подошла к кровати Шанура, присела рядом. От раскаленной спирали «козла» исходило достаточно света, и Петер видел, как она осторожно протянула руку и погладила Шанура по голове. Тот глубоко вздохнул и повернулся на другой бок. Брунгильда посидела еще немного около него, потом встала и ушла к себе. Петер слышал, как она ворочается и не спит. В блиндаже было душно, он встал и открыл дверь. Небо было ясным, и огромная луна, белая, как фарфор, стояла низко над испачканным снежным саваном земли, все было равно удалено отсюда и, как бездарная декорация, не имело ничего общего с реальностью. И поскольку отсюда, от входа в блиндаж, и было видно-то только, что этот край ущелья, да немного противоположного его края, пологий склон слева и крутой склон справа, да еще горы вдали — то, может быть, в мире вообще не было ничего, кроме этой декорации? Привычный рокот моторов и железный лязг раздавались будто бы из-под сцены. Петер представил себе, как эта декорация должна выглядеть с изнанки — и стал умываться снегом.

Он промучился всю ночь и встал поздно, благо будить его не стали. В блиндаже было пусто, на столе, прикрытая бумагой, лежала нарезанная колбаса и хлеб, рядом стоял знаменитый трехлитровый термос Камерона. В термосе был горячий чай. Петер позавтракал, медленно и с наслаждением. Чай был отличный, и сахар в чае — настоящий, и колбаса — настоящая, и хлеб — настоящий. Петер поймал себя на мысли, что еда захватила его целиком. В этом было что-то странное.

Кроме колбасы, Камерон привез газеты. Здесь были и почти свежие — позапозавчерашние — столичные и недельной давности швейцарские. За них-то Петер и взялся.

Президент Швейцарской конфедерации принял вчера находящегося с официальным визитом премьер-министра Соединенных Штатов Мексики… плевать… по сообщениям корреспондентов, в городах Дайна и Лндербург произошли столкновения полиции со студентами, имеются раненые… коронация христианнейшего короля Люции — где это? — Густава-Вальграфта Четвертого… Правительство Бразилии заявило решительный протест обеим воюющим сторонам по поводу морского инцидента в ее территориальных водах, подробности на четвертой странице… ага: бой крейсеров… ага… ага… Ну еще бы: три против одного. А это что? Мисс Вселенная объявила о своем желании принять участие в кампании по сбору средств для беженцев из зон военных конфликтов… отказ властей невоюющих государств в предоставлении им права убежища бесчеловечен, заявила она… Симпатичная девочка.

Но разве в этом чертовом мире хоть раз дадут дочитать до конца что-нибудь интересное? Ввалилась вся компания, шумные, веселые, с Летучим Хреном во главе, стали носиться по блиндажу, ронять вещи, и стало тесно, и Шанур был с ними, двигался и смеялся, по Петер, бог знает как, понимал, что движения Шанура, размашистые и быстрые, происходят не то от безволья, не то от чрезвычайной погруженности во что-то внутреннее, и потому чисто автоматичны, будто ноги и руки его привязаны ниточками к ногам и рукам прочих из этих скачущих; за улыбку же вполне мог сойти судорожный оскал, а за смех — выдохи, короткие и быстрые, возникающие от мелких, не видимых простым глазом коготков, которые душа запускает в средостение тела. И именно сейчас, глядя на дошедшего до ручки младшего оператора и на Летучего Хрена, завершившего сложную траекторию кружения по блиндажу мягкой посадкой за стол — рука его, подчиняясь энергии продолжающегося, еще не погасшего движения, извлекла из-за пазухи плоскую, черного стекла, рифленую бутылку и закружилась, разливая по кружкам что-то очень текучее, цвета жженого сахара, — так вот, глядя на все это безобразие, Петер подумал, что надо бы отправить Шанура в редакцию, пока он не наломал здесь дров, и пусть он там подзаймется, скажем, монтажом… Позже он много и бесплодно проклинал себя за это решение, но тогда оно показалось ему удачным… кто мог знать, чем все это обернется? И кто может сказать, что произошло бы, потеки события иным руслом? Но выпили, закусили колбасой, Летучий Хрен заверил, что дело пойдет, что советника он все-таки уломал, не такой дремучий оказался советник, как попервоначально показался, хоть и странный тип, конечно, да и добронамерен чересчур, но общий язык с ним находить можно и должно, особенно если постараться (он заглянул в горлышко бутылки, потряс ею над кружкой и добыл еще несколько капель), — ну и продолжайте в том же духе, ребята, а пленку я сегодня увезу. Всю. Уезжаю сегодня, один, остальные остаются. Пока. Да… на фронте? Дерьмо на фронте. Ладно, не буду подрывать ваш боевой дух…

Веселились? А вот почему: по приказу генерала Айзенкопфа было решено с сегодняшнего дня вводить отправление обрядов культа Императора. Саперов построили, но никто не знал, как и что нужно делать. Наконец кое-как разобрались: сам генерал встал у подножья постамента, а саперы маршировали перед ним и кричали «Ура!» в ответ на провозглашаемые здравицы. Потом стали приносить жертвы: в довольно большой чаше зажгли спирт. Поначалу спирт горел нормально, но потом, нагревшись, закипел, пламя стало огромным, и занялась фанерная стенка постамента. И вот то, как офицеры генеральской свиты тушили спирт и постамент, при этом старательно делая вид, что ничего не происходит, как они старались быть торжественными и благолепными, — вот это просто не поддается описанию! Но вот проявим пленку…

Майор Вельт вошел в сопровождении четырех солдат из комендантского взвода. Два солдата остались у двери, два шагнули на середину — автоматы у живота, пальцы на спусковых крючках, колючие быстрые взгляды из-под надвинутых касок, — а майор, затянутый в черную кожу, подошел медленно, мерзко вихляя задницей, поскрипывая в сочленениях и тем давая хорошо почувствовать свое приближение к Летучему Хрену, который побледнел — Петер очень хорошо знал, к чему именно бледнеет Летучий Хрен! — побледнел, но продолжал пока сидеть в позе самой пренебрежительной, — подошел и, протягивая руку ладонью вверх, скучным голосом сказал:

— Пленку.

Летучий Хрен неторопливо поднялся на ноги, стряхнул с рукава несущественную пушинку — как-никак он был действительно статский советник, чин, приравненный к генерал-майору, а полковничьи погоны свидетельствовали лишь о его независимом характере — и, не глядя на майора, сказал с великолепным выражением:

— Майор, подите вон.

Майор Вельт как бы мигнул всем лицом.

— В таком случае, — сказал он, — вы арестованы. Взять их! Солдаты подскочили с двух сторон к Летучему Хрену, им не впервой было арестовывать противников, но тут у них сорвалось, тесноват для такого рода дел оказался просторный блиндаж, и майор Вельт, шагнувший в сторону, чтобы не мешать солдатам, оказался спиной к Камерону. Камерон поступил просто: он обхватил майора рукой за шею и заорал страшным голосом:

— Все к стене! Застрелю!

Со своего места Петер видел, что пистолет Камерона оставался там же, где и был, — в кобуре, и что Камерон упирается в спину майора просто костяшкой пальца, но ни майор, ни его солдаты знать этого не могли и замерли на мгновение, и это мгновение Летучий Хрен использовал: выхватил из-за пазухи еще одну бутылку — точно такую же, рубчатую, черного стекла — и замахнулся ею, рявкнув:

— Ложись! Разнесу раздолбаев!

Солдаты отшатнулись, майор делал им какие-то жесты, которые можно было понимать двояко, и пока они опомнились, Петер и Шанур, уже с настоящими пистолетами в руках, поотбирали у них автоматы, один солдатик, у двери, плюгавенький такой очкарик с вывернутыми губами, совсем помертвевший от несообразности происходящего, автомат отдавать не хотел и что-то быстро-быстро бормотал в свое оправдание, и только налетевшая с фланга фурия-Брунгильда оплеухой привела его в чувство, солдатик отдал автомат и заплакал. Действуя трофейным автоматом как дубиной, Брунгильда поставила солдат лицом к стене, майора посадили на табурет и связали ему руки за спиной, и тут возник некий композиционный провал. Петер понял вдруг, что произошло непоправимое, что вот только что все они, поднявшие руку па этого ублюдка, подписали себе смертные приговоры и обжалования не будет… Это же почувствовал, наверное, и майор Вельт. И прочие, кажется, тоже почувствовали, потому что повисла пауза, которую было нечем заполнить; как в шахматной партии, когда эффектный и отчаянный ход, оказывается, не имеет продолжения, развития — и все идет на пропасть, и вот сейчас посыплется…

Не посыпалось. Хотя и было на грани и даже чуточку за гранью. Вошел господин Мархель, и вновь что-то сдвинулось и переменилось. Петер, как это бывало с ним в моменты сильного волнения, будто отстранился и смотрел со стороны, и вновь ему увиделась шахматная доска — как тихий ход, сделанный где-то на одном ее краю, отдается громом на краю противоположном, разом меняя оценку позиции и настроения и планы игроков.

— Спокойствие, господа, — сказал господин А\u1072?рхель. Он был в форме полковника кавалергардов. — Спокойствие. Итак, майор, вы пошли по шерсть, а вернулись стриженным? Замечательно.

Майор зло посмотрел на господина Мархеля, но промолчал.

— Извините, господа, — сказал господин Мархель. — Майор превысил полномочия. Ему было поручено попросить вас ликвидировать несколько метров только что отснятой пленки. Я надеюсь, вы не станете возражать, если я скажу, что сохранение для потомков этого прискорбного эпизода крайне нежелательно?

— Станем, — сказал Летучий Хрен. — Вы же знаете принципы нашей редакции. Мы можем его не обнародовать, но сохранить обязаны.

— Это особый случай, — мягко сказал господин Мархель. — Ведь мы с вами присутствуем при историческом моменте зарождения новой религии, идущей на смену прогнившим насквозь верованиям в полоумного еврейского бродягу. И допустить, чтобы наши потомки получили страшный эмоциональный удар, увидев, как мы, их легендарные предки, неумело отправляем священные обряды, допустить, чтобы их религиозные чувства были так оскорблены, — нет, это немыслимо! Делайте со мной что хотите, но этого допустить нельзя. Да, пусть мы сегодня чуть погрешим против объективной истины, но ведь потомки простят нам этот наш грех — они будут добры и снисходительны, наши потомки, новая религия привьет им эти качества. А об истине не жалейте: ее очень много в нашем мире. Весь мир состоит из объективных истин. Мир бесконечен. От бесконечности отнять один — сколько будет? Бесконечность! А отнять десять! Все равно бесконечность!

— А если бесконечно отнимать по одному? — ехидно спросил Летучий Хрен.

— Бесконечность есть бесконечность! — ликующе провозгласил господин Мархель. — Так просто ее не исчерпать! Так что давайте пленку, и инцидент исчерпан.

Неловко было глядеть друг другу в глаза, потому и прощание оказалось скомканным и вообще не таким, как надо. Известие о том, что ему предстоит уехать, Шанур неожиданно принял спокойно и вопросов не задавал. Даже не то слово — спокойно, просто вспышка активности, настоящей, не марионеточной, когда разоружали комендатурщиков, и внезапная пустота потом, после капитуляции, — они сожгли в Шануре все, что могло гореть, и ничем, кроме апатии, Шанур ответить не мог.

— Я буду продолжать, — сказал ему тихонько Петер, когда таскали и укладывали коробки с пленкой. Шанур кивнул равнодушно.

Потом они пожали друг другу руки и даже обнялись на прощание, но пусто и нелепо, исполняя ритуал, не более того, и Петер не мог отогнать ощущение, что прикасается не к человеку, а к измятой бумаге. Это было страшно, носить в себе такое ощущение, но мало ли страшного приходится носить — и ничего…

— Не стреляют, — сказал вдруг Шанур, озираясь, будто стрелять должны были по ним и сейчас.

— Уже давно не стреляют, — сказал Армант. — Говорят, у зенитчиков в пушках пауки завелись.

Шанура передернуло.

— Не люблю пауков, — сказал он.

— А я люблю, — сказал Армант. — Помнишь, у меня тарантул жил, его звали Сарацин.

— Помню, — сказал Шанур. — Я тогда старался не заходить к тебе.

— Но заходил же.

— Заходил. Но это было неприятно.

— Я для него тараканов ловил.

— Надо ехать.

— Везет тебе. Будешь там с девочками баловаться.

— Счастливого пути, — сказал Петер. Шанур повернулся к нему.

— Петер, — сказал он, — я все пытаюсь вспомнить, что хотел тебе сказать, и никак не могу. Что-то надо было сказать — и забыл. Забыл, и все.

— Напишешь, — сказал Петер.

— Хорошо, — сказал Шанур, — вспомню и напишу.

Подошел Летучий Хрен, остановился в двух шагах. Шанур оглянулся на него, кивнул головой ему, потом кивнул Петеру, Ар-манту, потом махнул рукой и пошел к машине. По дороге он запнулся и чуть не упал.

— Петер, — сказал Летучий Хрен. — Так неудачно все получается. Но не могу задерживаться. Ты давай. Работай. Плюй на всех — и работай. Учти, что в случае чего, советник — в кусты, а расхлебывать тебе придется. Из этого и исходи. Пленки буду присылать больше, чем указано будет в накладных. Знай. Ну, вот…

— Ладно, — сказал Петер. — Не забывай там нас.

— Не забуду, — очень серьезно сказал Летучий Хрен.

Эк погудел, и Летучий Хрен заторопился к машине. До темноты надо было успеть спуститься по серпантину. На том же месте, где и Шанур, он запнулся, не устоял и выстелился во весь рост. Помощи ему, конечно, не понадобилось, он тут же вскочил, отряхнулся, чертыхаясь, и пошел дальше, но Петер видел, как Менандр сморщился и энергично поплевал через левое плечо. Петер помедлил и сделал то же самое. Армант жужжал камерой.

Снова пошел снег, и машина канула в него, как под упавший занавес. Петер, давя в себе распухающее чувство уже свершившейся беды, спустился по скользкому склону к мосту. Мост, такой черный и незыблемый, быстро терялся в белом мельтешении. Много лет Петеру будет сниться именно эта картина: мост, пропадающий постепенно, шаг за шагом, метр за метром, тающий и истончающийся, как сахар в кипятке, в белом воздухе, в мелькающих хлопьях. Это будет сниться ему то часто, то редко, то под утро, то в самом начале ночи, но каждый раз он будет просыпаться от тихого, безнадежного ужаса перед уже свершившейся бедой, когда еще непонятно, откуда и в каком виде она придет, но точно известно, что уже ничего не исправить. И несколько раз другие мосты — обычные мосты через реки, разные мосты в разных местах — будили в нем этот ужас так внезапно и так мощно, что он не мог ступить или въехать на мост, и приходилось останавливаться и ждать, когда все уляжется…

На обратном пути Петер подвернул ногу, поэтому арест инженера Ивенса снимал Армант. Арест инженера был обставлен исключительно эффектно: к блиндажу, который занимал Ивенс, солдаты приближались перебежками, как под огнем; дверь блиндажа выбили толовой шашкой. Инженера и еще одного капитана-сапера вытащили, завернув им руки за голову, и, подгоняя стволами автоматов, поставили перед генералом Айзенкопфом. Генерал долго и с сожалением на лице что-то говорил инженеру, а потом своей рукой сорвал с него погоны. При этом у генерала отклеился ус, и он машинально поправил его.

На суде инженер не отрицал свою причастность к заговору с целью задержать, насколько возможно, строительство моста и назвал сообщников. По его показаниям было арестовано еще сто восемнадцать человек.

Сам инженер и те из сообщников, которые отрицали свое участие в заговоре, были расстреляны, остальные осуждены на максимальный срок.

Новым начальником строительства стал майор Тунборг, еще месяц назад ходивший в унтерах.

Странно, но после отъезда Шанура Петер ощутил полнейшую пустоту вокруг себя. Пустота эта обладала замечательными звукоизолирующими свойствами: все, что происходило вокруг, Петер видел, но звуков не слышал и потому почти ничего не понимал. Брунгильда, встревоженная тем, что Петер не только молчит, но и не реагирует на обращенную к нему речь, попыталась его потормошить и, задев случайно лоб, отдернула руку: Петер был раскален, как печка. Его тут же растелешили, растерли спиртом, потом Менандр сотворил дьявольский коктейль: красный стрептоцид, аспирин, несколько капель йода, все это растворил в стакане шнапса; по вкусу питье напоминало опилки, и с этим ощущением — что рот набит опилками — Петер погрузился в бред. Бред его был мучителен и поразительно однообразен: Петер лежал на раскаленном дне реки, настолько раскаленном, что вода текла в метре над ним, над его лицом, и там медленно проплывали пузатые, как пузыри, рыбы и медленно колыхались водоросли, а потом сверху вниз стали опускаться утопленники с синими лицами, и струи воды шевелили их, придавая чудовищные позы, утопленники достигали жидкого дна реки и вываливались оттуда на твердое дно, и начинали высыхать и корежиться от жара, и оставались лежать, глядя вверх, как там проплывают ленивые пузатые рыбины и колышутся водоросли, и так без конца…

При этом, оставаясь на дне, Петер ухитрялся время от времени возвращаться на свою койку в блиндаже; так, он запомнил, как приходил фельдшер и говорил, что это точно не тиф, потом — что тиф бывает только при эпидемиях, и тогда санитарное управление дает указание лечить от тифа, а пока что таких указаний не было, поэтому здесь не тиф, а простуда, малярия или отравление. Потом он вернулся, когда рядом с ним сидела Брунгильда и думала, что ее никто не видит; лицо Брунгильды было некрасивое и почти старое, уголки рта опустились, а на отяжелевших веках видны стали лиловые жилки. Брунгильда не знала, что ее видят, поэтому по ее лицу было легко понимать, что она думает, и мысли ее были такие же усталые и некрасивые, как и ее лицо. Петер тоже был в этих мыслях, и даже не он сам, а карикатура на него: этакий брезгливый ломака, чистоплюйчик… и в то же время он был все-таки отдельно от остальных, которым от Брунгильды нужно было только одно… он да еще Шанур, но Шанур был не окарикатурен, а наоборот… боже ты мой, подумал Петер, что же я натворил, я же видел, но я хотел как лучше, ладно, это мы исправим, хоть это-то можно исправить, завтра же, завтра… Он задохнулся от жалости, он захотел сказать или как-то по-иному дать понять Брунгильде, что любит ее и желает ей счастья, но не удержался в этом мире и снова оказался на дне реки, на белом, спекшемся в бетон песке.

Он пролежал в бреду двое суток, потом быстро пошел на поправку, но в день, когда привезли то, что осталось от Эка и Летучего Хрена, Петер был еще очень слаб.

Их нашли только потому, что хорошо искали. У полковника Энерфельда, в которого сразу после смерти превратился Летучий Хрен, было много сильных друзей, они-то и организовали поиски, когда полковник не вернулся в назначенный срок. Полугрузовичок нашли на Плоскогорье, километрах в шестидесяти от стройки, причем тридцать километров из этих шестидесяти — в сторону от шоссе. Там, в развалинах древнего греко-православного монастыря, и наткнулись на сожженную машину с двумя трупами па сиденьях. Шофер и полковник были приколоты к спинкам сидений офицерскими кортиками — кортиками саперных офицеров со скрещенными топориками на темляках.

— Садитесь, лейтенант, — сказал Петер лейтенанту-десантнику, который доставил тело. — Садитесь и рассказывайте все. Извините, я просто очень слаб, переболел чем-то странным…

— Сверх рапорта — ничего, господин подполковник, — сказал лейтенант. — Каких-либо следов мы не обнаружили.

Петер покивал.

— Только два трупа, — сказал он полувопросительно.

— Так точно, — сказал лейтенант.

— В машине было трое, — сказал Петер.

— Только два, — сказал лейтенант. — На переднем сиденье. Петер вспомнил очень отчетливо, как именно садились они в машину: Шанур на переднее сиденье, Летучий Хрен — на заднее, он всегда ездил сзади, потому что там можно было поспать.

…могли остановить под видом патруля и потребовать старшего по званию пересесть вперед, и Шанур мог схватиться за пистолет, и его застрелили на месте и бросили — там масса мест, куда можно бросить труп, и никто не найдет, скажем — в обломки машины или самолета, а потом Эку приставили пистолет к затылку и полковнику тоже, и полковник возмущался, но ему отвечали — приказ, начальство разберется, — а потом обоих прикололи кортиками к сиденьям, облили бензином и подожгли…

— Должен быть еще лейтенант, — сказал Петер.

— Не было. Мы вернулись к дороге по их следам.

…диверсанты просто убили бы на месте всех — и дело с концом. А ребятки майора Вельта не стали бы загонять машину в глушь и прятать, и сжигать тоже не стали бы, им нужен внешний эффект, причем такой, чтобы все догадывались, чьих рук дело, а доказать не могли…

— Ну, а груз? Там же был полный кузов.

— Ничего, — сказал лейтенант. — Кузов был пуст. Неужели все-таки советник? Так…

— Спасибо, лейтенант.

— За такие дела благодарить нельзя.

— Вас накормили?

— Нет. Но мы уже уезжаем.

— Пятнадцать минут. Сейчас все будет.

— Простите, подполковник, — приказ…

Приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, даже такие приказы, каких вовсе не бывает, например, приказ отбыть из расположения части без обеда, и тем не менее приказы следует выполнять, значит, и те приказы, которых никто не отдавал, потому что никто не мог предвидеть такую ситуацию, когда, допустим, приглашают пообедать после достойного выполнения задания, и очень легко сослаться на приказ, если обедать почему-то не хочешь, точнее, не хочешь обедать здесь, с этими людьми, и никто не обидится, все поймут, что приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, тем более приказы, отданные самому себе… Йо почему, лейтенант? Что мы, прокаженные, что ли? Ты явно брезгуешь, лейтенант… или опасаешься? Ни черта не понимаю, подумал Петер, ни в чем ни черта не понимаю, кто и за что их убил, — подозреваю, да, подозреваю, но ведь доказать не могу и не смогу… и при чем тут этот лейтенант?.. Ах, господи, чем голова занята… Где Шанур? Вот что нам надо выяснить и решить, вот в какую точку надо бить: где Шанур и что с ним? Но для этого надо понять, кто напал и почему, и круг замкнулся, все совершенно непонятно, я насмотрелся здесь таких запредельных штучек, что всякая, самая шальная версия может оказаться правильной, всякая, любая, выбирай любую и крути ее, как вздумается…

Взять советника, подумал Петер, взять… я, Камерон, Брунгильда — Брунгильда в таком деле стоит двоих — взять… приставить пистолет к виску… а дальше что? Все. Все… Надо же, ничего не придумывается…

Ладно. Будем исходить из того, что он жив и захвачен. Кому он может понадобиться? Почему захватили именно его? Если это шутки советника, то, может, ему понадобился личный оператор — так сказать, взамен меня? А? Он ведь о Шануре имеет весьма поверхностное представление — зеленый лейтенантик, не более того… это хорошо… это было бы замечательно, просто замечательно. Но слишком уж просто…

Но кто-то же захватил пленку! А если пленка была главной целью, а Шанур, так сказать, побочной? Допустим, его захватили для чисто технических нужд — управляться с проектором, скажем? Ну-ка… А? Что?

— Пойдем, Петер. Пойдем, не надо тут стоять.

Это был Камерон. Петер огляделся вокруг: он стоял над обрывом, на открытом месте — сам не помнил, как сюда пришел.

— Да, — сказал Петер. — Пойдем, конечно.

— Решили здесь хоронить, — сказал Камерон. — Могилу уже роют.

— Я найду кто… найду, понимаешь? — Петер покачнулся, Камерон поддержал его.

— Вряд ли, — сказал Камерон. — Такая каша…

— Я найду, — повторил Петер.

— Ну и что? — сказал Камерон. — Что из того, что найдешь? А… — Он махнул рукой. — Ищи.

— Он не был твоим другом, — сказал Петер.

— Да разве в этом дело? — сказал Камерон.

— А как же тогда быть? — сказал Петер. — Рукой на все?

— Ему уже не поможешь, — сказал Камерон.

— Есть еще Шанур, — сказал Петер. Камерон молча пожал плечами.

— Я ведь тебя ни о чем не прошу, — сказал Петер. Камерон опять промолчал.

— Можно подумать, что тебе все равно, — сказал Петер. — Что ты только и хочешь…

Камерон издал неясный сдавленный звук, Петер посмотрел на него и тут же отвернулся: стиснув зубы, Камерон плакал.

Первым серьезным мероприятием майора Тунборга в роли начальника строительства было введение режима строжайшей секретности. Запрещались к разглашению все абсолютно данные о темпах работ, о действительной длине моста и так далее и тому подобное — даже о расходе электроэнергии. Операторов перестали пускать на стройплощадку, все сооружения позакрывали щитами и маскировочными сетями — Петер пошел скандалить к советнику, и вместе они, два приятеля, Гуннар и Петер, — пошли к генералу. Генерал, однако, оказался тверже, чем предполагалось. Он объяснил, что на стройке, помимо интересов министерства пропаганды, присутствуют еще и интересы военного ведомства, которые- могут оказаться под угрозой из-за утраты бдительности и, как следствие, утечки оперативной информации. Да, мероприятия, направленные на пресечение утечки, создают определенные трудности для хроникеров, но что поделаешь, война есть война, а на войне без трудностей не бывает, придется смириться, но до окончания работ никакие данные не подлежат огласке, нет, Гуннар, и не проси, даже ради тебя, я все понимаю, но нет. Пусть твои ребятки займутся лучше освещением быта саперов, их боевой и политической подготовкой, внимательнее отнесутся к проблемам внедрения новой религии — а здесь еще немало проблем, старое все еще цепляется за души людей и тормозит их духовный рост и развитие. И преображение. А что касается самого моста — то нет. Не положено. Может случиться утечка информации.

— Вот так, Петер, — сказал господин Мархель, разводя руками. — И ничего не поделать, он здесь хозяин.

— Не расстраивайся, подполковник, — сказал генерал. — Наплюй ты на это железо. На людей, на людей внимание обращать надо. Люди — вот настоящее железо!

В быт саперов Петер вгрызался яростно. Материалы Шанура — кроме тех, под мостом, конечно, — погибли, поэтому Петер изо всех сил стремился наверстать потерянное. Он знал, что не сможет сделать это так, как Шанур, так неподкупно точно и с такой любовью, что-то внутри него придерживало изредка руку и отводило глаза, но — он стремился, и иногда получалось. Приходилось, конечно, снимать и парадные сцены: новые и новые моления у статуи Императора, все более гладкие и вычурные, приторные, как сахарин; построения и зачитывания приказов; развод караула; обход генералом позиций артиллеристов; награждения. Но чаще — сцены из обыденной жизни, текущей совсем иначе, чем жизнь показная, парадная, иначе и отдельно. Еда; сон; сапер стирает портянки; сапер штопает шинель; четверо саперов дуются в самодельные карты, проигравшего лупят картами по ушам, остальные хохочут; сапер сидит на табурете, другой, мальчишка с изъеденным оспой лицом, на широкой струганой доске кусочком угля пишет его портрет; несколько саперов стоят сзади и тихонько, чтобы не помешать, спорят; голые саперы выбегают из бани и катаются по снегу; черные, как черти, копаются в моторе трактора; собравшись в кружок, травят анекдоты. Петера охватывала тихая злость, когда он чувствовал, что ему начинают позировать, — но обрести с саперами былую бесплотность ему не удавалось, то ли сил не хватало после болезни, то ли еще чего… Петер чувствовал перемену отношения, между ним и саперами появился ледок настороженности, прозрачный, тоненький и холодный. Несколько раз его буквально судорога сводила от внезапно возникавшей преграды между ним и людьми — будто они, люди, внезапно прозревали в нем что-то опасное или омерзительное, но старались не показать, изо всех сил старались не показать, и у них получалось, но все силы тратились на это…

Однажды утром возник подполковник-адъютант и сопроводил полуспящего Петера к генералу и господину Мархелю. Когда Петер вошел, генерал и советник сидели молча и понурившись.

— Проходи, Петер, — сказал советник. — Вот решаем, как быть…

— Что стряслось, Гуннар? — спросил Петер.

Генерал криво усмехнулся, а господин Мархель пожал плечами.

— Плохо дело, — сказал он. — Император требует, чтобы мост был сдан немедленно. Мы вот тут помозговали и решили…

— Другого выхода у нас не было, — сказал генерал.

— Другого не было, — подтвердил господин Мархель. — Тем более что все материалы погибли. Так вот, решили сделать макет моста, так, скажем, в одну пятидесятую натуральной величины, и снять его. Такой, понимаешь ли, трючок. Откупимся от начальства, а там потихоньку и настоящий закончим. Как ты думаешь?

— Мне то что, — сказал Петер. — Снять-то что угодно можно.

— Верно мыслишь, — сказал генерал.

— Главное, чтобы там не узнали, — сказал господин Мархель и ткнул пальцем наверх.

— Не захотят — не узнают, — сказал генерал.

— Это точно, — сказал Петер.

— Да, но это не все, — сказал господин Мархель. — Если бы только это… Видишь ли, его, — он показал на генерала, — хотят сделать этаким мальчиком для битья, все у них приготовлено — вызывают в столицу и… ну, сам понимаешь. Мы тут подумали и решили: а что, если…

— Вообще-то… — начал генерал, но не закончил, замолк.

— Ты не беспокойся, Йо, Петер свой человек, — сказал господин Мархель. — Так вот, я перепишу сценарий, а потом подумаем, как и что нам переснять… в общем, генерал Айзенкопф сегодня погиб на посту.

Петер посмотрел на генерала. Генерал внимательно разглядывал ноготь на мизинце.

— Сделаем так, — продолжал господин Мархель. — В том, что мост не сдан в срок, виновен генерал Айзенкопф, но он погиб на посту, а мертвые сраму не имут. А в предыдущие события внесем корректировку: дескать, реальный вклад в руководство строительством вносил полковник Мейбагс, а генерал только привносил разлад и беззакония. Как тебе такой оборот событий?

— Круто, — сказал Петер.

— Разумеется, — сказал господин Мархель. — Только круто и можно в таких обстоятельствах.

Преображенный сценарий был таким:

«…преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает Высшему Имперскому Совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, но вот мы видим, как полковник Мейбагс наклоняется к уху генерала Айзенкопфа и шепчет ему что-то, и трехкоронный генерал подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу… Мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы, и вот расчищено место для будущего великого строительства. И постоянно среди саперов мы видим полковника Мейбагса, окруженного подлинной любовью. Вот настал великий день: саперы, стоя в строю, принимают поздравления от генерала Айзенкопфа; вот они в едином порыве устремляются на свои рабочие места. Генерал садится в машину, где его ожидает кинозвезда Лолита Борхен, и уезжает. Полковник Мейбагс руководит работами. Взревели сервомоторы, засверкали огни сварки, и вот первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной… Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры во главе с полковником Мейбагсом вглядываются в небо. Неприятельский самолет! Полковник отстраняет наводчика орудия и сам занимает его место. Огонь! — командует он. В небе исключительно кучно возникают белые шарики разрывов, секунда — и, пылая, вражеский ас врезается в скалы! Обломки самолета крупным планом. Еще и еще обломки. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Читают письма из дому, играют в шахматы, поют песни. Ужин, появляются зеленые солдатские фляжки с добрым ромом, произносится тост: «За победу! За Императора! За нашего генерала Айзенкопфа!» Но мы видим, как, отвернувшись, многие саперы шепчут: «За нашего полковника Мейбагса!» Ночь. Саперы спят…» — ну и так далее.

— Надо не забыть вскрыть гнусную сущность майора Вельта, — напомнил Петер.

— Да-да, — согласился господин Мархель, продолжая вписывать поправки в сценарий. — Мавр сделал свое дело. Поясним, что он в силу своей перверсии ненавидел гетеросексуальных мужчин и подсознательно стремился к их устранению.

— По-моему, вы перегибаете палку, — забеспокоился генерал.

— Молчи, покойник! — весело сказал господин Мархель.

— Тогда бы надо освободить тех… в лагере, — сказал Петер.

— Да? — Господин Мархель отложил карандаш, почесал переносицу. — Нет. Рановато. Они нам еще пригодятся. Вот закончим мост, тогда…

— Саперы говорят, рабочих рук не хватает, — напомнил Петер.

— Ерунда, — сказал генерал. — Плохому плясуну всегда яйца мешают.

— Нет, Йо, ты не прав, — сказал господин Мархель. — Нельзя так сразу отказываться от такого резерва рабочей силы. Не по-хозяйски это. Давай-ка ты, пока живой, заставь Тунборга проверить, действительно ли не хватает и сколько. Можно будет часть штрафников освободить и направить на работу.

— А как же их предательство? — спросил генерал.

— Как было. Сажали-то их для перевоспитания, не так ли? Вот и отберем тех, кто успел перевоспитаться.

— Ваше дело, — сказал генерал.

— Да, и еще, — сказал Петер. — По сценарию у нас в одном кадре получаются и генерал Айзенкопф, и полковник Мейбагс. Но… — Он кивнул на генерала и развел руками.

— Без проблем, — сказал господин Мархель. — Под бывшего генерала загримируем кого-нибудь из штабных. Подполковника этого… как его?

— Азаусси, — подсказал генерал.

— Азаусси? — переспросил господин Мархель. — Где ты их берешь с такими фамилиями?

— Старинная дворянская фамилия, — сказал генерал слегка обиженно. — Уж тебе-то надо знать историю Отечества.

— Ну извини, — развел руками господин Мархель.

— Извиняю, — сказал генерал.

— Значит, так, Петер, — сказал господин Мархель. — Сейчас в самом быстром темпе надо состряпать несколько сцен с генералом и полковником в одном кадре, потом с генералом отдельно, потом гибель генерала на боевом посту, и где-нибудь ближе к вечеру уже надо будет дать официальное сообщение.

— Тогда прямо сейчас и начнем, — сказал Петер.

Подполковника-адъютанта загримировали под генерала Айзенкопфа, получилось довольно похоже, но играл он плохо и путал реплики. В глазах его застыло выражение тихого панического страдания. Его снимали в группе офицеров и соло, статично и в движении, со словами и без. В один из моментов съемки — около статуи Императора — Петер, воспользовавшись тем, что рядом никого не было, шепнул ему:

— Сматывайся, дурак. Убьют.

— Куда? — с полной безнадежностью в голосе спросил подполковник-генерал, и стало ясно, что он все понимает.

— Куда-нибудь. Хоть в плен. Но скорее.

— Убьют… — пробормотал подполковник, и ему было все равно: что так убьют, что так — тоже убьют, но уже при попытке к бегству.

Но все же полчаса спустя он, позируя в легковой машине, вдруг быстро выбросил шофера — тот распластался на снегу, вскочил на его место и дал газ. Ему стреляли вслед, но безуспешно.

Брунгильде было плохо, она не знала куда себя деть, днем спала, а но ночам бродила по блиндажу, и Петер тоже не спал, засыпал и просыпался от ее хождений, и приходилось лежать и притворяться спящим, он боялся, что она наделает глупостей, сорвавшись; после того сеанса телепатии, который приключился с ним во время болезни, он стал относиться к Брунгильде по иному, научившись различать, где у нее лицо, а где маска, — Брунгильду следовало оставить в покое, позволить ей самой пережить-перемолоть все случившееся, никакого вмешательства она не потерпела бы и могла бы сорваться и наделать глупостей. Под глупостями Петер понимал не обычную женскую дурь, а глупости по большому счету, которые Петер, верный своей привычке не называть демонов по именам, старался не определять и не загадывать. Но пока что Брунгильда просто сумрачно ходила из угла в угол, или сидела за столом, уронив голову на скрещенные руки, или, за столом же, начинала ворожить, водя пальцем по алюминиевой тарелке. Впрочем, днем она спала, и крепко.

Менандр стал исчезать временами. Петер посвятил его в тайну Баттена, и Менандр взял на себя жизнеобеспечение беглеца. Там у них велась какая-то своя жизнь, и Петер с облегчением выпростался из-под одной из нош. Менандр на новом месте развернулся сразу и широко, и еда вновь стала генеральской.

Объявление о кончине генерала Айзенкопфа породило массу самых диких слухов. Большинство сходилось, впрочем, на том, что генерал остался жив, а сообщение сделано затем, чтобы ввести противника в заблуждение.

В одну из ночей, когда Менандр отсутствовал, бодрствующая Брунгильда услышала — сквозь бетон! — какую-то возню снаружи, а потом стон. Никого не будя, она сама с одним пистолетом в руке вышла на разведку и обнаружила на снегу человека; снег под его головой стремительно темнел. Без посторонней помощи она втащила его в блиндаж, и от этого шума хроникеры наконец проснулись. Зажгли свет. Это был Козак, без сознания, но живой. Кровь обильно лилась из раны на голове, нанесенной, видимо, лопатой. Петер, полив на руку шнапсом, пальцем залез в рану и убедился, что череп сапера удар выдержал. Козака перевязали потуже, приложили лед — кровь остановилась. В сознание он не пришел, но и умирать не собирался.

Пока он лежал на тюфяке, без сознания, но с хорошим пульсом и приличным дыханием, вдали поднялась заполошная стрельба. Все выскочили наружу. Палили где-то в районе штрафного лагеря, там летели вверх ракеты, осветительные и сигнальные, и разноцветные нитки бус повисали над подсвеченным снегом. Побег, наверное, подумал Петер, сейчас они разбегаются по лощинам, а кто не успел, того настигают эти самые бусы, издали такие медленные и нестрашные, и люди остаются лежать на снегу, а некоторые пытаются ползти или вырвать из себя застрявший свинец, он вспомнил, как на его глазах танкист, сидящий у своего разбитого танка, руками разорвал себе живот, и оттуда хлынула кровавая жило, и сопровождавший Петера капитан-танкист, сморщившись, дважды выстрелил танкисту в голову… Кажется, лаяли собаки.

— Не нашего ли Менандра пресекли? — не слишком серьезно спросил Армант.

— Ну что ты, — отозвался Камерон. — Менандр непресекаем. А, Петер?

Петер промолчал. Не в Менандре было дело там, в трех-четырех километрах отсюда, не в Менандре… кажется, я догадываюсь… или только кажется? Что это со мной последнее время? Комплекс Кассандры, что ли? Не хватает начать ворожить, как Брунгильда, или, скажем, заняться составлением гороскопов… но эти чертовы предчувствия взяли за правило оправдываться — особенно дурные предчувствия…

— Надо бы сходить посмотреть, — робко предложил он.

Оба подчиненных стали его уверять, что нужды в этом пет никакой, что все уже кончилось, а если не кончилось, то тем более нет резона подставлять голову. Петер с недоумением слушал их, потом вспомнил, как выглядели тела Летучего Хрена и Эка, и пошел греться. Козак все еще не пришел в себя, хотя вроде бы раз открывал глаза и что-то пытался сказать.

Петер сел рядом с Брунгильдой, приобнял ее за плечо — это было легко и естественно, все между ними прояснилось и сошлось на одном человеке — третьем, и никаких двусмысленностей и прочего быть не могло, — и спросил:

— Ты гадала на него? Брунгильда поняла и кивнула.

— Ну и?

— Ничего, — сказала Брунгильда тихо. — То есть совсем ничего. Будто его нет никакого — ни живого, ни мертвого…

— Совсем нет?

— Будто и не было.

Брунгильда доверчиво и уютно прислонилась к нему, и, чувствуя тепло, не для него предназначенное, Петер испытал острую зависть к Шануру, к честному сопернику, который вдруг исчез не только из жизни, но и вообще из бытия, оставив лишь короткую память, которой нет доверия, — исчез даже из прошлого, будто стертый отовсюду огромным ластиком, и тут, вдруг представив себе этот ластик, Петер догадался обо всем — догадка еще не сформировалась, но Петер все равно знал, что вот сейчас, сейчас — чувство понимания буквально захлестнуло его и, видимо, передалось Брунгильде, она внезапно оцепенела, а руку ее, лежавшую свободно, сжало в кулачок, твердый и сильный; они отстранились друг от друга, и им не пришлось даже ничего говорить, чтобы понять мысли другого… это было как вспышка, короткая и жесткая, от таких вспышек высыхают лица и сужаются зрачки, и только благодаря им удается изредка прозреть душу насквозь, до самого дна, и заглянуть в нее без страха, и со спокойным пониманием и снисхождением к собственным заблуждениям и слабостям. И еще Петер вспомнил, как они точно так же сидели с Шаиуром на этой самой койке и прислушивались к ходу времени, и оба поразились тогда холодности и равнодушию этого хода. «Воды времени холодны и мертвящи, и тот, кто войдет в них, никогда не выйдет обратно», — вспомнилось Петеру. Но Шанур, зная это, вошел в них, потому что не мог мириться больше с этим вселенским равнодушием к роду людскому, вошел, чтобы хоть брызг наделать… и нет Шанура, и не было никогда.

Камерон с Армантом долго не показывались, и Петер вышел вновь, оставив Брунгильду, посмотреть, где же они: в такую беспокойную ночь следовало держаться настороже. Они, оказывается, преспокойно любовались полярным сиянием. Сияние расцветало невысоко над горизонтом, над хребтом Ивурчорр, переливалось, переходя из красного в зеленое, нервно подергивалось временами, тускнело, потом разгорелось ярко — и погасло мгновенно, как перегоревшая лампочка. А па юго-востоке небо уже светлело, и вот оттуда, из светлеющего неба, протянулась вдруг огненная полоса и вонзилась в скалы неподалеку, беззвучно вспорола снежную пелену и, обрастая космами быстро остывающего пламени, ползла еще среди скал, теряя остроту и силу, и, пока она ползла, до ног докатился тугой толчок и последующие содрогания, а потом по воздуху долетел звук — неожиданно глухой, надтреснутый, рассыпающийся; потом там, где упавшее замерло в бессилии, — след, пробитый им, горел желтым чадным керосиновым пламенем, — там вспухло что-то неясное, темное, клубящееся, и из этого темного и клубящегося вдруг ринулись змеи, и на секунду это стало напоминать голову медузы, и Петер почувствовал на себе ее тяжелый, повелевающий окаменеть взгляд… тысячи змеящихся дымов рванулись в стороны и вверх, и вот они уже валятся сверху, а в ногах вата, ноги не сдвинуть с места и не перенести тела — в теле тоже вата, везде одна вата, такая дрянь… пятится назад Армант, то есть ему кажется, что он пятится, а лицо Камерона белее снега и белее ваты, а дымы валятся сверху, и уже не успеть, и тут рядом где-то заколотили в рельсу — раз! раз! раз! р-раз! р-раз! — и заорали: «Газы!!!» — Петера рванули за плечо, и, зацепившись за порог, он влетел в блиндаж, не удержался на ногах и упал, и тут же вскочил… Они набивали в щели какое-то тряпье и черную вату — Петер видел распотрошенный тюфяк, — они забили отдушины под потолком, потом Камерон жеваным хлебным мякишем стал залеплять дыру, через которую входил электрический провод, и тут погас свет. В темноте продолжалось движение, шевеление, шорох и неявные звуки работы, потом кто-то включил фонарик, и свет его был неожиданно белым и ярким.

— Дайте бинт, — сказал Камерон, — я руку ссадил.

— Сейчас, — отозвался Армант. Он пошарил где-то — лучик фонаря стал маленьким и ослепительным — и достал пакет. — Подставляйся.

— Я сам, — сказал Камерон. — Посвети.

Камерон поранился то ли гвоздем, то ли острым бетонным выступом. Рану залили йодом и перевязали — Камерон шипел и ругался.

— Промыть бы надо, — сказал Армант, — да воды…

— Ладно, — сказал Камерон. — На мне как на собаке.

— Долго нам тут сидеть? — спросила Брунгильда.

— Смотря что это было, — сказал Армант. — Если фтор-селенетин, то сутки. А если «би-куб», то… — Он замолчал, и молчание повисло над всеми, потому что все, кроме Брунгильды, знали, что такое «би-куб».

— То что? — спросила Брунгильда, не дождавшись прямого ответа.

— Ничего, — совсем другим голосом сказал Армант.

— Если «би-куб», то можно сидеть до второго пришествия, — сказал Петер.

— А то как мы узнаем? — спросила Брунгильда.

— Никак, — сказал Петер.

Брунгильда повозилась в темноте, встала и подошла ко всем остальным. Теперь они сидели кружком на кровати и двух табуретках. Луч фонарика, чуть потускневший, но все еще сильный, бил в потолок и, рассеиваясь, падал на лица.

— Ребята, — сказала Брунгильда, — объясните бедной неграмотной женщине, что все это значит?

Она не любила недоговоренности.

— «Би-куб», — сказал Петер, — это особо стойкое вещество. Держится на местности до десяти дней. Особенно зимой. Воздуха в этом блиндаже нам на пятерых хватит едва ли на сутки. Противогазы от «би-куб» не спасают. Значит, через сутки будем решать — или задыхаться здесь, или выходить. Вот и все.

— Понятно, — сказала Брунгильда.

И тут в дверь заколотили кулаками и прикладами.

— Откройте! — глухо доносилось из-за двери. — Откройте, гады!

— Сидеть, — сказал Петер. — Им уже не поможешь…

Все и так понимали это, но там, за дверью, были свои, которые… нет, нельзя. Поздно.

— Открывайте, гады! — кричали там, снаружи. — Сволочи! Заперлись, суки! Открывайте!

Поздно. Поздно. Те, за дверью, уже вдохнули яд, и теперь он разрывает им легкие. Сейчас они замолчат…

Они не замолчали. Они дали очередь в дверь, и пули тупо рванули воздух. В нос ударило горячим запахом жженого пороха, и Армант в два прыжка оказался у двери и трижды выстрелил в ответ. Слышно было, как упало тело. «Ложись!» — крикнул Камерон, он ждал гранатного взрыва, и Петер тоже ждал взрыва, но Армант, видимо, не понимал этого, тогда Петер рванул его от двери и прижал к полу. Так они и лежали, Армант слабо шевелился, потом Камерон сказал: «Пронесло». Петер поднялся. Камерон уже, торопясь, впихивал в отверстия от пуль черную вату и спички. «Помогай», — сказал он, и Петер стал разминать хлебный мякиш и замазывать им дыры поверх спичек…

Он стоял лицом к двери и не видел, как Брунгильда шла к Ар-манту, а он пятился от нее, как она приблизилась вплотную и влепила ему тяжелую пощечину, — тут только Петер оглянулся, Армант уперся в стол и ерзал вправо-влево, пытаясь нащупать путь отступления, руками он закрывался, но Брунгильда, почти невидимая, отвешивала ему то с правой, то с левой руки, шепча при каждом ударе: «Мерзавец… подонок… крыса… мразь… ублюдок…» — и Армант не выдержал и завопил: «Уберите эту бабу!» — «Ах, уберите!» — восхитилась Брунгильда и вмазала ему еще. Камерон вовремя оказался рядом с ними, он перехватил руку Арманта, вывернул — шутя — ее за спину и отобрал пистолет, рукояткой пистолета он тихонько долбанул Арманта по затылку — не так, чтобы отбить память, а просто чтобы напомнить о такой возможности, — и Армант обмяк и, обмякший, униженный, потек на свою койку и пролился на нее — и вдруг зарыдал.

Брунгильда, тяжело дыша, опустилась на кровать Петера. Петер сел рядом, потрепал ее по плечу.

— Ничего, — сказал он. — Как-нибудь… Ты только воздержись от резких движений, хорошо? Надо воздух экономить…

— А с тобой опасно связываться, — сказал Камерон. — Как… как… — Он не договорил и вдруг заржал, и Петер подумал, что, пожалуй, впервые слышит, как смеется Камерон, причем совсем не ясно, по какому поводу.

И тут подал голос сапер.

— Твою мать, — громко и отчетливо, будто и не пролежал полночи без сознания, сказал он. — Есть тут кто живой?

Кап… кап… кап… кап…

Клепсидра…

Если лежать не шевелясь, кажется, что и не лежишь вовсе и что тебя просто нет — и головная боль не твоя, ты лишь знаешь о гом, что она есть… молоточки или капли? Кап… кап… тук. Тук. Тук. Тупо и беззлобно, не имея представления о том, как это больно… в виски… и в глаза — сзади. Больно до невозможности терпеть — но ты даже не тратишь силы на то, чтобы терпеть, ты просто знаешь, что боль есть и что она твоя, но это далеко в стороне, и потому никому не интересно… Волки, что ли, воют?

Откуда капает? Сил нет, как хочется пить… Что? Ничего. Я молчу. Вечер? Где вечер?

Стоят. Может, и заводил. Не помню. Осталась только Клепсидра.

Кап. Кап. Кап! Кап! Кап!!! Кап!!! Кап!!! Пустите меня! Пустите меня! Пустите!!!

А… нет, ничего. Все в порядке, Карел. Голова — сил нет. Дурею. Скоро кончится.

…этот актер — который играл диверсанта и которого я в затылок — в ямочку между шеей и затылком, он даже не успел ничего почувствовать и повалился, как тряпичная кукла, — я ведь успел понять — успел понять — успел понять… только не выстрелить не смог — странно… и часового они — ножом — почему? До сих пор вижу, как он валится — он умер мгновенно, раньше, чем упал, он падал уже мертвый, как тряпичная кукла — тело мгновенно становится мягким и неуправляемым, потому что некому управлять — на секунду возникают эти видения — я знаю, что не виноват, но почему я не смог задержать выстрел — будто катился под гору… ты говорил ужасные вещи, Карел, но это правда — мы виноваты — да, не только советник, мы все, потому что без нас он не мог ничего — но если бы мы ушли, пришли бы другие, ничем не лучше нас… но саперы тоже не правы, потому что убивать нас бесполезно, и я даже не знаю, как быть… но теперь это все равно, потому что «би-куб» решил все за всех… Карел? Молчишь… все молчат… и я молчу… Конец?

Это так бывает, да?

…что раздвинется, и мы вдруг увидим… город, простой город, смотри, вон там — здание театра, видишь? Нет, правее, вон за теми домами — зеленая крыша? Не видишь… смотри: три красных дома, чуть дальше — такая решетчатая башня, там радиостанция, дальше деревья, и группой — одинаковые белые дома — увидел? Вот, а за ними — зеленая крыша… да-да-да! Именно там сейчас идет это представление, на сцене — декорации блиндажа, и вы там задыхаетесь от нехватки воздуха, ты лежишь и бредишь, а Брунгильда поднимается и, спотыкаясь в темноте, идет куда-то…

Нет.

Я не хочу! Что? Не бывает?

Это ты? Брун… когда? Прямо сейчас — потому что никогда больше… и умрем… смерти без мучений… конечно… да… да… ты ведь все знаешь… знаешь все… да… такое… боже мой, боже мой!., это куда-то, куда-то… куда-то… где… все… волна ушла — и теперь бесконечное падение, падение, паде…

Чернота. Нет ничего.

Как долго ничего нет…

И ослепительный грохот. Вспышки боли над глазами, и после вспышек чернота лишь сгущается, но куда меня волокут… холод — и с холодом приходит зрение…

…потому что снег, и луна прожектором, и в белом снегу белая женщина, встает и падает, и страшно холодно, я голый в снегу, и рядом еще кто-то лежит, мы лежим и пытаемся подняться, снег тает на телах, и они блестят… голая Брунгильда в голом снегу… немыслимо холодно, надо одеться — нет, правильно, надо растираться снегом, да-да, надо растираться, чтобы жарко… вот зачем… как вата… лицо, сначала лицо, грудь, руки, пошло дело, пошло, резко, как пригоршней иголок, но я уже могу, да, лежит Камерон и не движется, помогай, девочка, вот и он оживает, вот оживает и открывает глаза, еще не видит, но уже открывает, в глазах боль, но это ничего, дружище, это пройдет…

…Армант на коленях и растирается сам, и Козак возится в снегу, ему вдвойне, но он крепкий мужик, и вот вроде бы живы все и движутся, и вот наконец можно увидеть все целиком: сугробы, огромные вокруг сугробы, и черный провал двери, и истоптанный снег, все залито белым лунным светом, и пятеро голых людей на снегу — и ничего больше нет в мире, кроме этого…

Дымка с разума сдирается послойно, и вот холод уже не бодрит, а вгоняет в озноб, и пальцы не чувствуют пуговиц, как деревянные, тело не чувствует прикосновений, ладно, застегнем потом, все наброшено как попало, но держится и холод не пропускает, Брунгильда, ноги! Сейчас… сейчас… Умница, Камерон, давай все в кучу, это бензин? Осторожно… ну, вот.

Вот и костер, и тепло, и живы, живы ведь, черт побери, черт вас всех дери — живы! Правильно, разливай скорей, продрогли насквозь, за воскрешение, так и разэтак!

Спирт вспыхнул внутри и потек по жилам — сначала к спине, вдоль спины, вверх и вниз, в живот, в пах, в плечи и шею, в голову — и боль ушла совсем, и руки уже теплы и можно, наконец, похлопать по плечам тех, кто рядом, ребята, да ведь мы родились опять, и пелена на глаза — но уже не черная, а розовая, это от кружки-то спирта? Нет, братья, не так-то просто нас укокошить, но все-таки кто открыл дверь? Ты? Брунгильда — ты? Да ты просто не понимаешь, что ты за человек, ты просто не можешь этого понимать, до гробовой доски — правильно, парни? До гробовой доски! И вытаскивала, да? Всех? Ребята, Брунгильде нашей — ура! Ура!!! В неоплатном долгу — это не слова, это так и есть. Нет-нет, очень серьезно — все твои должники…

…беззвучные вопли восторга исторгаются всеми и свиваются в единый вихрь, и в этом вихре несется Брунгильда и кружится в нем, ты с ума сошла, Брунгильда, боже мой, как красива Брунгильда, мир никогда не видел женщины красивее, чем ты — и никогда не увидит, ты же замерзнешь, дурочка, оденься! Да, сошла с ума, да, сошла, да — хочу и буду, хочу и буду! Вот так, и вот так, и вот так… Петер, наконец, ловит ее, прижимает к себе — Брунгильда дрожит, — и Камерон набрасывает на нее шинель, и ее несут к огню и отогревают у огня, тихо и бережно, и растирают ледяные ступни, и чьи-то носки из толстой шерсти, и знаменитый свитер Менандра в три пальца толщиной, и вот из свертка видны только два огромных темных глаза, а мужчины все еще хлопочут о тепле…

Потери, причиненные газовой атакой, были огромны. Они были бы катастрофичны, если бы не внезапная метель, разразившаяся днем. Почти ураганной силы ветер снес зараженный снег, а потом выпал снег свежий, и стало можно жить. Повезло…

Две недели до Рождества были суматошны — срочно, срочно, чрезвычайно срочно восстанавливались — фальсифицировались — киноматериалы о строительстве: начиная с первых кадров и кончая сценами торжеств по поводу завершения перекрытия. Одновременно штрафники строили в некотором отдалении громадный павильон, где был прорыт очень похожий, только маленький, каньон— ну, не такой уж маленький, двадцать метров в ширину, двад-

цать пять — в глубину. Копии сооружений были похожи, но уж очень аккуратны, видно было, что это подделка, ио господин Мархель был доволен, особенно ему нравилось, как лежат блики от блестящих ферм моста на скалах — то что надо, восторгался он, то что надо!

Странно, но газовая атака будто обрубила прошедшее время и память о нем. То, что было до газов, казалось уже страшно далеким и полузабытым — едва ли не легендарным. История почему-то начала свое течение вновь, с новой точки отсчета — Петер уже обращал внимание на подобные феномены человеческой памяти, будто перегрузившись, она сбрасывала и оставляла позади недавнее и начинала впитывать новые впечатления…

Менандр готовил елку — он раздобыл где-то елку на этом безлесом Плоскогорье и теперь наряжал ее в полном соответствии со своими вкусами. Было много ваты, посыпанной слюдяным блеском, и много свечей, и куклы с умильными рожицами, и апельсины на ниточках. Менандр был в своей стихии, и Петер с удовольствием смотрел на него, как он осторожно и аккуратно развешивает по колючим лапам яркие стеклянные бусы — не хватало дюжины ребятишек в масках, и Санта-Клауса с его оленями, и ведьм на крыше, и самой крыши, и все это было бы уместно где-нибудь на фермерском Юге, а здесь только взбивало пену на поверхности и поднимало муть в глубине… Менандр был чужд подобных переживаний и радовался, что может соорудить уголочек прошлого — уголочек детства — здесь, среди снега и железа, и не понял бы ничего, если бы ему сказали правду.

— Индейки не нашел, — сказал он, с исключительным изяществом сервируя стол. — Но гусь — это тоже неплохо.

Гусь вплыл на деревянном блюде, распространяя сводящие с ума ароматы, и это было настоящее Рождество — может быть, последнее, потому что носились в эфире слухи о том, что искоренение старой религии зайдет достаточно далеко и день Рождества заменит День Тезоименитства Его Императорского Величества, — но пока что было можно, и все поздравили всех с веселым Рождеством и стали делать друг другу маленькие подарки: Петер подарил Брунгильде дамский браунинг, очень маленький и изящный, как игрушка — игрушка исключительно точного боя; Камерону досталась трубка из корня арчи — выточили саперные умельцы еще летом; Армант получил двенадцатикратный цейсовскпй бинокль и очень обрадовался; подарок для Менандра был особой проблемой, по части достать Менандр мог все, и ему Петер торжественно вручил пачку писем из дому, пришедших в редакцию и доставленных сюда только вчера вечером. Надо было видеть лицо Менандра! Размашистый почерк жены; бисерные почерки трех дочерей; внуки и внучки писали печатными буквами… Сам Петер от коллектива получил букет цветов — Менандр мог все! — две бутылки коньяка: «Бурбон» и «Бисквит», и новую зимнюю шинель, коньяк был превосходен, весь мир остался за толстыми бетонными стенами, за бетонным перекрытием, за снегом и темнотой зимнего вечера, здесь было тепло, сыто, пьяно, а настроение не приходило.

— А знаете что? — сказал вдруг Менандр. — Говорят, что наш Христиан где-то объявился.

— Как — где-то? — вскинулся Петер и боковым зрением заметил, как напряглась и распрямилась Брунгильда.

— Да вот — разное говорят, — пожал плечами Менандр. — Ерунду главным образом. То — что в лагере он, а то вроде как у зенитчиков его видели. Вроде как… ну… как бестелесный он все равно. Ходит и смотрит… говорит… разное.

— Так, — сказал Петер; он сразу вспомнил Хильмана. — И что он говорит?

— Так я что, слышал разве? — сказал Менандр. — Разное говорят. Кто что хочет — тот то и говорит.

— Легенды, наверное, — нервно сказал Армант.

— Может, и легенды, — согласился Менандр. — Сам не видел, врать не буду. Но — говорят…

— Мало ли что говорят.

— Это конечно.

— Мен, — хрипло сказала Брунгильда, — где его видели?

— У зенитчиков, — начал перечислять Менандр, — потом, говорят, в лагере — ну те, которые в павильоне работают, они говорили кому-то, — потом видели, как он по дороге шел, далеко отсюда, шофер подвезти хотел, а Христиан отказался — вот. Ну, и еще говорят, по ночам в блиндажи заходит, разговоры ведет — но, тут уж, сама понимаешь, все молчок — где, с кем…

— Петер? — посмотрела на него Брунгильда. Петер помолчал.

— Думаю, если это правда, — медленно сказал он, — то нас он не минет.

— Что ты говоришь, Петер? — удивился Армант. — Ты вправду думаешь, что такое может быть?

— А почему нет? — сказал Петер. — Тело-то не обнаружено.

— Тогда он — дезертир, государственный преступник!

— Да? — удивился Петер. — Интересная мысль.

— Ты странно относишься к такому важному вопросу! — гнул свое Армант.

— Тебе же сказали — он бесплотен, — сказал Петер. — А бесплотным может быть только дух. Потеряв тело, человек автоматически выбывает из рядов, и о дезертирстве речи быть не может.

— Это словесные выверты. — Армант, похоже, захмелел. — Суть дела состоит в том, что ч-человек может потерять плотность, а может ее и вернуть — так бывает, я знаю, это не имеет ничего общего с потерей тела, то есть со смертью. Я помню, как вы с ним говорили про это — я вошел, а вы меня не видели и сидели, а потом у вас чуть до стрельбы не дошло — я по-омню! — Он хитро прищурился и погрозил пальцем. — Хитрые! Думаете, я ничего не знаю? Я все-о знаю…

О-ла-ла, подумал Петер, а пацан показывает зубки… Ладно, потом.

— Господи, — глухо сказала Брунгильда, — да что они с ним сделали-то такое? Петер, что они с ним сделали? Ведь он за них все — душу, кровь… все… а они? За что? Как так можно ослепнуть, чтобы своих?..

— Можно, — вздохнул Петер. — Еще и не так можно. Саперы ведь видят — мы появились, и пошла всякая мерзость. Значит, мы виноваты. Значит, нас под ноготь… виноват, к ногтю. Что, они могут со стороны разобраться, кто именно виноват? Да ни черта. Ни черта! И мы ни черта не можем, вот в чем самая-то беда…

Снег сыпал и сыпал, изо дня в день, понемногу, мелкий и редкий, но он сыпал без перерывов и заваливал все на свете, и все силы вскоре приходилось убивать на пробивание дорожек и дорог, на расчистку площадок и прочее, и прочее, и прочее. Козак заходил редко, с оглядкой — как он говорил, антикиношные настроения вроде бы рассосались, но опасаться, что тебя еще раз рубанут сзади лопатой, приходилось. Вероятно, наиболее активные сторонники террора погибли при газовой атаке, а сами киношники, удалившись в павильон, больше глаза не мозолили и рецидивов ненависти не вызывали. Работы стояли прочно, на мертвом якоре. Для чего-то саперы выходили на свои места, крутились по стройке, создавая иллюзию какого-то движения, но за последний месяц мост не прибавился ни на одно звено.

На экране же дело обстояло следующим образом: после восстановления разрушенной электростанции очень быстрыми темпами мост был достроен, соединен с противоположным берегом и закреплен. Предварительно там был высажен воздушный десант, который захватил плацдарм и удерживал его до момента введения моста в эксплуатацию. Танковая армия — пластмассовые танки в одну пятидесятую натуральной величины — форсировали каньон и прорвали наспех возведенные оборонительные сооружения противника. Однако противник не терял надежды на контрудар. Высадив танковый десант в нашем тылу, он попытался прорваться к мосту, но был остановлен и в тяжелом бою разбит наголову артиллеристами и саперами. Апофеоз — генеральное наступление— решено было снимать на натуре, и не здесь, а на юге, и не сейчас, а весной.

— Темпы, темпы, темпы! — Господин Мархель метался по своей резиденции — пол был завален исписанными и смятыми листами бумаги, окурками дорогих сигарет, фотографиями и кусками киноленты. — Как показать темп? Как создать темп? Петер, ты что молчишь?

Петер сидел, закинув ногу на ногу, и курил дорогую сигарету господина Мархеля. Они только что просмотрели отснятое, и… темп, господа, темп! Видно было невооруженным глазом, что саперы еле передвигаются.

— Не молчу, — сказал Петер. — Я думаю. И я думаю, что надо не форсировать темп, а оставить так, как есть. Пусть будет видно, до какой степени измучены люди, что они еле стоят на ногах — но мост тем не менее построен. Как, Гуннар?

— Императору может не понравиться. Он не любит излишнего натурализма.

— Тогда дать им недельку отдохнуть, отоспаться, подкормиться — и переснять. Снять-то надо метров двести…

— Подкормиться… подкормиться… — пробормотал господин Мархель. — Пожалуй, да. Недельку, говоришь? Может, поменьше? Дня два-три?

— А куда торопиться? — спросил Петер. — Давай пока смонтируем остальное, а эти куски вклеим.

— Н-ну, давай… — как-то неуверенно сказал господин Мархель.

С ним последнее время творилось что-то не совсем понятное — будто кончался завод его пружины, и в движениях и действия к стали возникать паузы и перебои. Не раз он принимал предложения Петера по поводу фильма и не раз уступал ему в спорах. Петер, каждый раз ожидавший упрямого сопротивления, терялся, когда вместо каменной стенки на его пути оказывалась труха, и не доводил дело до конца. Сейчас, почуяв слабину, он двинулся дальше.

— Да, Гуннар! Мы ведь забыли об одном деле — об одной сцене. Арест майора Вельта до сих пор не снят. А может получиться очень эффектно!

— Да-да, — согласился господин Мархель. — Надо снять. Сделай это, пожалуйста. Комендантских тебе дать?

— Не надо, — сказал Петер. — Ну их. Я саперов возьму.

— Хорошо, — согласился господин Мархель. — А вечером суд. Петер уже выходил, когда господин Мархель окликнул его:

— Подожди! Мы же не переснимали предателей — так за что же арестовывать майора?

Петер нашелся сразу — вероятно, ответ был уже заготовлен и лежал под рукой, один из многих:

— Как за что? За гомосексуализм, конечно.

— А! Ну да, — вспомнил господин Мархель. — Конечно. Извини, склероз…

Но арестовать майора не удалось: увидев вооруженных саперов и операторов, он понял, в чем дело, попытался бежать, потом открыл пальбу; саперы, разумеется, в долгу не остались…

— Ну вот, — недовольно сказал Петер. — Хоть бы морду целой оставили, что ли…

— Душу отвели, — сказал Козак, забрасывая автомат за спину. Выход нашли: Арманта, похожего фигурой на майора, одели

в майорскую форму, и Петер снимал со спины, как его ведут в блиндаж, запирают за ним дверь и пломбируют ее, и два сапера с автоматами становятся на стражу; потом господин Мархель в полковничьем обличий прочел Арманту — Петер опять снимал со спины — приговор, согласно которому майор Вельт за поведение, позорящее честь офицерского мундира, приговаривался к пожизненному заключению и полному поражению в правах.

— Скомкали эпизод, — сказал с сожалением Петер. — Могло лучше получиться.

— Сойдет, — сказал господин Мархель. — Не будем отвлекать внимание зрителя на второстепенные сюжетные ответвления.

Вечером этого дня Петера попытались убить. Он возвращался из павильона один, и вдруг перед ним вырос человек и скрипнул спет сзади, там тоже кто-то был, человек поднял руку и что-то сказал. Петер не расслышал, потому что, сделав обманное движение вправо, сам отклонился влево и повернулся боком, выстрел был глухой и мимо. Петер бросился в ноги стрелявшего, но тот успел выстрелить еще раз, и Петера обожгло вдоль спины, он сбил мазилу с ног, кто-то топтался рядом, Петер крепко держал своего противника за кисть с пистолетом, еще раз грохнул выстрел, потом из темноты мелькнул сапог — прямо в лицо, вспышка была поярче, чем от гранаты, но Петер выскользнул из-под этой вспышки, пистолет был уже в его руке, и он выстрелил по метнувшемуся еще раз сапогу, и тут вдруг стало легко, кто-то оторвал от него противника, потом ему терли снегом лицо и, кажется, Козак сказал: «Ну и уделали тебя!» И тут вдруг поплыло, и очнулся Петер уже в тепле.

Это был тесный блиндаж саперов, он лежал на нарах, было душно и накурено, саперов было много, во рту горело от рома, и кто-то сказал: «О! Сразу и полегчало. Налей-ка еще», — и ему поднесли еще кружку. Петер выпил и пришел в себя окончательно. На правом глазу был бинт, вообще вся правая половина лица была как деревянная, и страшно горела спина.

— Говорил же я тебе — на хрена ты ходишь в одиночку? — сказал Козак, он был здесь, и еще были знакомые лица, а в углу сидели двое с набитыми мордами — должно быть, покушавшиеся.

— Эти, что ли? — кивнул на них Петер.

— Они, — сказал Козак, — они, родимые…

— Зачем это вы, ребята? — спросил их Петер.

— Мы уж тут пытались им внушить, — сказал Козак. — По тупые, как пеньки. Деревня…

— Сами вы тупые! — сдавленно сказал один из тех, помоложе. — Не видите, что ли — продали нас всех на корню! Это же заговор! А-а… — Он обреченно махнул рукой.

— Так ты что же думаешь — киношников перебьешь, и все пойдет как по маслу? — спросил Петер,

Тот промолчал, глядя исподлобья, зло, как хорек.

— Чего молчишь? — ткнул его в бок Козак.

— Погоди, Карел, — сказал Петер. — Ребята не разобрались — бывает. Давайте сначала. Не было киношников — все шло хорошо. Приехали киношники — все стало плохо. Значит, убить киношников—и все опять будет хорошо. Так, что ли?

— Ну, — сказал один из тех. Другой молча кивнул.

— Поздно убивать, — сказал Петер. — Надо было сразу. В первый же день. Теперь уже поздно. Карты сданы, и игра сделана…

— Вот и Христиан про то же говорил, — сказал Козак.

— Да, — сказал Петер. — Это все равно что пытаться остановить камнепад, вытащив из него самый первый камень — с которого началось… да и началось-то еще до нас… Я не знаю — все так перемешалось, — где есть наша вина, где ее нет… но главное — это подлость и трусость и вашего генерала, и нашего советника… и ваша, господа саперы, черт вас подери с вашими доносами и тотализатором…

Саперы зашевелились, но никто ничего не сказал.

— Ладно, дело прошлое… хотя… ладно, — решительно оборвал себя Петер. — Вот я вас спрашиваю: вы все хотите, чтобы о вас — о таких — память осталась? Или не хотите? Или — чтобы пригладить, причесать, подмазать? Как вам желательно?

Мялись саперы. Мялись, чесали затылки, подбородки, ладони, было им неловко говорить, что выбрали бы они, конечно, вариант подслащенный, чуточку сокращенный — потому что, что же… живые ж люди… жить-то хочется, правда?

— А, Карел? Ты-то что молчишь?

— Да я не молчу… В общем, так: делай как нужно. Понял? Мне, может, и не все хочется… только надо — чтобы все. Правильно, мужики?

Мужики ворчали что-то неопределенное, что, мол, грехи и прочее, и жисть прожить — не поле перейти, да ты не обращай внимания, жаль, конечно, когда о нас плохое думать будут — так не надо было по-свински — ну и так далее…

— А вашего черного я все равно убью, — сказал тот, похожий на хорька.

— Толку не будет, — сказал Петер. — А себя погубишь.

— Я не для толку. Я так… для себя.

— Ваши тогда, до газов, убили?.. — Петер сглотнул, так почему-то резануло это воспоминание о предчувствии, что вот этот, сидящий перед ним, и есть убийца Летучего Хрена, Эка и Шанура. — Убили полковника, оператора и шофера?

— Наши, — кивнул тот. — Оператора не убивали, неправда. Он сбежал потом.

— Сбежал? — выдохнул Петер.

— Так я же тебе говорил, что видел его потом, — сказал Козак.

— Ничего ты не говорил.

— Только что говорил — видел его и разговаривал.

— Я не понял — что после того… Где он сейчас?

— Не знаю. Ходит где-то. Говорил, что будет ходить и смотреть — и думать.

— Подожди. — Петер опять повернулся к террористу. — Если это ваши — то где киноленты?

— Раздали по рукам. На сохранение. Но это еще до газов было, теперь где и что — мало кто знает.

— Ваш же Менандр их на тушенку выменивал, — сказал Козак. — Ходил и выменивал. Штук пятьдесят, наверное, унес, а то **и** больше.

— Менандр? — удивился Петер. — Ничего не понимаю.

— Он тебе не говорил?

— Ничего. Ну, допрыгается он у меня. Ты тоже отдал?

— У меня не было, — сказал Козак.

— Проклятье… — Петер сжал пальцы так, что они хрустнули. — Ребята, если кто найдет, если у кого есть, если кто знает, где спрятано, — отдавайте мне. Тушенки у меня нет, но что-нибудь придумаем.

— Да что мы, совсем уж шкурники, что ли, — сказали саперы. — Принесем, если найдем, чего уж там…

Менандра не было, Петер перевернул весь блиндаж вверх дном, но ничего не обнаружил. Камерон и Брунгильда, матерясь, помогали ему, причем Камерон вспомнил, что дня три назад видел Менандра перебиравшим коробки с лентой, но и не подумал поинтересоваться — проклятье! — а Брунгильда высказывалась весьма произвольно по поводу всего на свете, пока Петер не сообщил ей свежую информацию о Шануре — она ахнула, села и молча сидела очень долго, будто ждала, что вот сейчас он войдет — никто, конечно, не вошел, а Петер вдруг ощутил страшную тяжесть во всем теле и еле дотащился до койки, оставив Камерона убирать все, что они пораскидали, — в обжитом блиндаже оказалось поразительно много вещей, — однако уснуть не смог, задремал и застонал, так заныли лицо и спина, Брунгильда разбинтовала его и, чуть не плача, стала промывать заплывший глаз и прикладывать снег к скуле, а со спиной вообще ничего нельзя было сделать, пуля сорвала узкую и длинную полоску кожи, даже перебинтовать это было трудно; наконец Камерон придумал приклеить бинт вдоль раны клеем для киноленты, и, неожиданно успокоившись, Петер крепко уснул. Во сне он видел Шанура, Шанyp что-то говорил ему, но Петер не понимал ни слова, будто Шанур говорил на каком-то ином языке, а потом Шанур повернулся и пошел прочь. Петер попытался удержать его, но рука проходила сквозь Шанура свободно, как сквозь призрак…

Утром его разбудила короткая, но злая канонада — звук, когда-то фоновый, стал редким, а потому резким и тревожным. Через несколько минут в блиндаж влетел Армант, схватил камеру и выскочил наружу, потом медленно и разочарованно вернулся и в ответ на вопрос Петера: что случилось? — рассказал, что только что над мостом появился странный, круглый, как тарелка, самолет, завис неподвижно — зенитчики, наверное, растерялись, потому что огонь открыли не сразу — и стал спускаться, и уже метрах в ста от земли его накрыли. Самолет оказался чрезвычайно живучим, видно было, что снаряды попадают прямо в него и взрываются внутри, а он все пытался уйти из-под огня, поднялся довольно высоко, но попал в сектор обстрела восьмидюймового дивизиона, и эти его доконали — упал в каньон. Очень живучий. Круглый такой. Никогда таких не видел…

Три дня Петер не вставал — не мог. Организм взбунтовался, ноги не держали, от малейшего усилия пробивал пот и, втайне от себя довольный этим, он пролежал, читая какую-то ненормальную книжку без начала и конца, не зная ни автора, ни названия — речь шла о владетеле затерянного в горах города-государства, который расчетливо и жестоко вытравлял в своих подданные все человеческое, превращая их постепенно в подобия марионеток, послушных воле и руке владетеля; вначале описывалось, как он, размышляя о жизни, жег спички и смотрел на огонек — точно так же в конце он, размышляя, доводил своих подданных до убийства или самоубийства, не прямыми приказами, а непонятными на первый взгляд действиями, поручениями, словами, но в результате получалось именно то, чего он хотел — причем обязательно в его присутствии. Можно было бы подумать, что он развлекается этими убийствами, но, наоборот — с каждым разом он становился все мрачней и мрачней и, предаваясь размышлениям о человеческой природе, поджигал новую спичку… Конец был оборван, и неясно было, чем это все может кончиться.

Только в конце февраля удалось «восстановить» фильм. Господин Мархель вновь был оживлен и вновь все понимал — но теперь у него было более благодарное, чем натура, место приложения сил. Менандр стал вдруг неуловим, как Фигаро, — Менандр здесь, Менандр там — именно там, где Петера нет; Петер уже подумывал о том, не арестовать ли гада, но решил не рисковать — черт его знает, что выйдет из этого ареста, а у него вон какая семья. Саперы, хоть и обещали поискать спрятанные ленты, так ничего и не принесли.

Первого марта день был ясный, небо прозрачное, и бомбардировщик увидели вовремя, но он шел высоко, один, и огонь пока не открывали — смысла нет тратить снаряды по цели, идущей в двенадцати километрах над тобой. Крохотный светлый крестик прошел над головой в тыл, там развернулся и пошел обратно, и всем было ясно, что это разведчик и следует готовиться к налету — как вдруг высоко, прямо в зените, раскрылся парашют. Маленький белый круглый купол. Один. Это было непонятно, и все приникли к биноклям, а парашют снижался довольно быстро, и вот под куполом, в центре его, стало видно что-то черное и круглое, это был явно не человек — бомба! Все знали уже об этих новых бомбах и потому сначала оцепенели, а бомба спускалась сверху, как по нитке, прямо на головы, и вот сейчас она вспыхнет белым — и все люди испарятся, как капли воды на раскаленной броне, и камень, размягший, потечет вниз, туда, где в немыслимом жаре, оседая, плавятся и корежатся железные балки, потом по всему этому сверху туго ударит волна и расплещет, смешивая, камень и металл, и потом, когда все остынет, никто никогда не поймет, где и что было и где кто стоял… Петер увидел это — а в это время воздух над его головой загудел от густой пулеметной струи, кто-то успел — бомба задергалась под куполом и, оторвавшись, полетела вниз, упала — Петер не мог оторвать взгляд от нее — и, расколовшись, загорелась зеленоватым и очень жарким пламенем, остывающим в густой белый дым, и несколько саперов бросились туда, к обломкам бомбы, и ломами, лопатами, прикладами, сапогами стали подталкивать их к обрыву, и Армант был среди них с камерой, потом он бросил камеру на землю и тоже, схватив руками что-то, побежал к обрыву и швырнул туда это, потом вернулся и вдвоем с кем-то, прикрываясь руками от жара, потащил по снегу горящий обломок, другие пытались снегом потушить самый большой костер, но от снега он только разгорался, но уже кто-то завел трактор и несся туда на тракторе, вспарывая снег, и вот все отошли, и в дело вступила техника. В две минуты бульдозер сгреб все в кучу и спихнул ее вниз, и саперов тут же раздели догола и голых погнали в баню — так было надо. Все побросали вниз — и одежду, и то, чем они работали, только камеру Арманта Петер подобрал и, вынув из нее кассету, бросил туда же.

Пережитая почти наяву смерть-испепеление смутила его, да и не только его, все вокруг говорили чересчур громко и весело и смеялись или противно, или ненатурально, стараясь притвориться дурачками, которым все равно — жить или не жить; на войне вырабатывались своеобразные правила хорошего тона. Но скоро они все примут свои законные двести пятьдесят, и все станет простым и вполне приемлемым — так вот и живем… и помираем так. А что? Нам помереть — это раз плюнуть. Эх, солдаты-солдатики, оловянные лбы*…*

Вечером Арманта сильно морозило, но к утру он успокоился и уснул. Петер намеревался отправить его в тыл, но господин Мархель и слушать не захотел — самого дисциплинированного оператора — ив тыл? Ну нет!

Кассету, снятую Армантом на тушении бомбы, Петер проявил, но лента почему-то оказалась засвеченной.

Наконец Петер выловил Менандра. Для этого пришлось устраивать форменную засаду. Менандр, прижатый к стенке, сознался в том, что выменял у саперов шестьдесят две коробки с отснятой лентой и что действовал, не ставя в известность начальника; но, оправдывался он, секретность была необходима для безопасности самого начальника — резонно? — а лепты хранятся в самом надежном месте, в берлоге Баттена, и о них можно не беспокоиться. Все было логично, и Менандр был предан и смотрел прямо в глаза, готовый обидеться за то, что возникли такие гнусные подозрения — в том, что он, Менандр, мог совершить нечестный поступок, — а все равно беспокойство Петера не уменьшилось, просто он уже не мог понять, из-за чего оно. Не из-за лент, выходит? Из-за Шанура, да? Или еще что-то висит? Ни черта не понятно…

Еще неделю возились в павильоне, доснимая кое-что — так, детали; Армант почти поправился, только изредка его знобило. Сняли фантастическую сцену, сочиненную господином Мархелем, вероятно, в момент обострения гениальности: полковник Мейбагс, узнав, что бомбой убило повара, сам становится на его место, готовит саперам обед и, в белом халате и колпаке, разливает им по котелкам суп.

Петер, пользуясь своей невидимостью, пробрался мимо часовых на настоящую стройплощадку. То, что он увидел там, даже не удивило его, но почему-то надолго испортило настроение: все суетились, на сборке саперы старательно приваривали звено к месту его крепления, потом так же аккуратно отрезали электропилами; шум стоял дикий. Насосы работали и исправно гнали масло в гидроцилиндры, но штоки поршней были отсоединены от фермы моста и выдвигались вхолостую. Петер снимал это и чувствовал, как что-то тяжелое сдавливает грудь, мешая вдохнуть. Нет, какого дьявола, со злостью отбросил от себя эту тяжесть, мне он, что ли, нужен, этот мост? Пусть у тех, кто это все затеял, голова болит, а я… Не помогало почему-то. Он повесил камеру на плечо и ушел.

Камерон выслушал его, похлопал по плечу, сказал: «Так оно все же лучше, чем если он обвалится», но проклятая тяжесть не проходила.

Штрафники, работающие в павильоне, рассказали Петеру, что генерал Айзенкопф на самом деле не погиб: на него готовилось покушение, но его вовремя предупредили, и он успел скрыться, и сейчас он готовит в тылу танковую армию — ту, которая должна пройти по мосту и принести нам полную и окончательную победу, — и скоро будет здесь с танками и снесет к чертям лагерь, и будет судить всех, и тогда все свое и получат: и Вельт, и этот ваш черный, и комендантский взвод — все.

Примерно такие же слухи ходили и среди саперов. На ухо шептали, что конец бардака не за горами и скоро вернется человек с твердой рукой. Козак сказал, что многие саперы носят с собой фотографии генерала, хотя по нынешним временам за такую фотографию легко влететь и за проволоку.

Наконец появились подметные листки. От руки или по трафарету был изображен генерал в профиль, и текст гласил: «Я иду!»

Армант разболелся по-настоящему. Он температурил, кашлял, покрылся какой-то гнусной сыпью. Петер не выпускал его наружу и заставлял лежать. Брунгильда, после газовой атаки смотревшая сквозь Арманта, не устояла против женской природы— обиходить болеющего — и подолгу сидела рядом с ним, то молча, то беседуя о чем-то. Шла уже середина марта, все еще зимнего месяца в этих широтах, но день становился заметно длиннее, и, кажется, изменился воздух — не было теперь в нем сплошной заледенелости и звонкости, что-то добавилось, что-то ушло, и небо странным образом поменяло оттенок: иней с него смахнули, что ли? Бледные зимние закаты налились кровью, и однажды такой закат, раскатанный на полнеба, вдруг оборвался пронзительной зеленью. В этот вечер пришел Шанур.

Менандр рыскал где-то; Камерон и Брунгильда были заняты в павильоне; Армант спал, тяжело дыша; Петер чистил пистолет. Шанур вошел неслышно, не открывая двери, позвал:

— Петер!

Петер хоть и ждал подспудно этого визита, хоть и узнал голос — вздрогнул и судорожно ухватился за рукоятку собранного пистолета. Потом заставил себя расслабиться и обернулся. Шанур шел к своей койке, застеленной по-прежнему, как и было в тот день, когда он уехал. Поначалу Брунгильда ухаживала за койкой, как за могилой, а потом как-то по-другому.

— А, это ты, — сказал Петер. — Хорошо, что пришел. Почему не сразу?

Шанур смотрел на него темными глазами и ничего не говорил.

— Я почему-то уверен был, что ты жив, — внутренне суетясь, чувствуя эту суету и ненавидя себя за нее, продолжал Петер. — Внутри, знаешь ли, такое… ну, понимаешь, как лампочка горела — живой… хорошо, что так получилось… то есть что я несу — хорошо, что обошлось. Ну, рассказывай.

Шанур покачал головой.

— Ты суетишься, Петер, — сказал он негромко. — Ты устал?

— Конечно, — сказал Петер. — Я вот и чувствую, что суечусь. Но я очень рад тебя видеть.

— Хорошо, — сказал Шанур.

— Где ты… — Петер хотел сказать «скрываешься», но не сказал, неудобно получалось, — живешь?..

— Хожу, — сказал Шанур. — Просто хожу везде. Нигде не задерживаюсь.

— Вот ты-то и устал, наверное?

— Смешно, — сказал Шанур, — но как раз на этом я замечательно отдохнул. А ты устал и…

Он замолчал вдруг и посмотрел на Арманта. Армант приподнялся на локте.

— Явление Христиана народу, — сказал он. — Или мне снится?

— Нет, — сказал Шанур. — Я пришел.

— Мне не о чем с тобой говорить, — сказал Армант.

— Ну и что? — сказал Шанур. — Это ничего не меняет.

— На что ты рассчитываешь, кретин? — сказал Армант.

— Ни на что, — сказал Шанур. — Уже ни на что.

— Ты скрываешься, ты прячешься, хочешь выжить, ты неуязвим, — горячо заговорил Армант, — говоришь саперам такие правильные слова про правду и долг перед историей, а сам прячешься от своего долга… ты присягал, а где твоя верность присяге? Ты неуязвим, а предлагаешь саперам заниматься тем, за что их расстреливают. Ты думаешь, они этого не понимают? Это подло — то, что ты делаешь!

— Нет, — сказал Шанур. — Это не подло. Когда убили полковника и Эка, а меня оглушили и заперли в подвале, я точно знал, что я должен делать, — я должен был ходить и объяснять всем, кто и в чем виноват и что главное сейчас — это оставить правду обо всем, что здесь происходит. Я научился говорить и находить самые нужные слова, но потом они отворачиваются — хотя и соглашались со мной и говорили, что за меня и за правду пойдут в огонь и в воду, — но они отворачиваются, и все продолжается, как шло, хотя каждый из них считает, что теперь-то он горой стоит за правду и будет стоять до конца, понимаешь? Каждый стоит горой за правду, но все равно позволяет твориться лжи и позволяет делать с собой что угодно, я давно перестал понимать это — просто привык. Каждый по отдельности — борец за правду, а все вместе — глина, лепи из нее…

— Дурак, — сказал Армант. — Тебе надо было три месяца отираться меж них, чтобы понять это?

— Да, — сказал Шанур. — Три месяца и одиннадцать дней…

— А я, наверное, умру скоро, — сказал Армант. — Уже волосы выпадают.

— Из-за этой бомбы? — спросил Шанур.

— Да, из-за дыма. Говорят, кто его вдохнет — уже все. И знаешь — совсем не страшно. Только очень жалко. Особенно как о родителях подумаю…

— Я вот тоже.

— Тебе лучше.

— Конечно, лучше. Моя мама всегда твою жалела, говорила: не дай бог с Ивом что-нибудь случится, Франсуаза не переживет.

— Помнишь, когда лазали по скалам и вы думали, что я струсил?

— Глупые были. Ты мне тогда правильно врезал.

— Я бы тебе и сейчас врезал, да сил нет.

— Найдутся, врежут, ты не думай.

— Я ничего, — сказал Армант, откидываясь на подушку. — Просто зря ты это…

— Наверное. Петер, я похож на сумасшедшего?

— Слегка, — сказал Петер.

— Это плохо. Сумасшедшие вызывают жалость или брезгливость, а надо другое…

— Эх ты, — сказал Армант, глядя в потолок. — Вера им нужна. Просто вера. Заставь себе поверить — и за тобой пойдут. Юнгман и генерал пообещали им победу, скорую победу и славу, саперы поверили — и вот он, мост. Придумай что-нибудь хорошее и заставь их в это поверить, убеди — они мигом продадутся тебе душой и телом, причем учти: продадутся в кредит без начального взноса. Сейчас как раз кризис, в скорую победу никто уже не верит. Попробуй. А твоя правда — это не товар. Что им от правды — теплее станет? Думай, Христиан…

— Нет, Ив, — сказал Шанур, покачав головой. — Это не выход. Это кружение в той же плоскости.

— А ты желаешь подняться над плоскостью?

— Да.

— Поднимая себя за волосы? Или взмахивая руками и громко жужжа?

— Как-нибудь.

— Хорошая программа: научиться подниматься над плоскостью, потом летать, потом научить летать саперов, построить их в клин и улететь в жаркие страны…

— Хорошая, Ив. Самое забавное, что ты почти угадал.

— От тебя несет покойником. Боже мой, как от тебя несет…

— Я жалею, что начал всю эту возню… но надо было выбирать, и почему-то выбралось это. Теперь надо продолжать… надо заканчивать.

— Их не расшевелить, — сказал Армант.

— А вдруг? — невесело усмехнулся Шанур. — Бывают же на свете чудеса. Потом жить — и думать всю жизнь, что мог попытаться, но не попытался.

— Или не жить, — сказал Армант.

— Или не жить, — согласился Шанур. — Это тоже выход.

— Это не выход, — сказал Армант. — Я даже не знаю, что это. Просто очень жалко — лета уже не будет.

— Ну, что ты, — сказал Шанур. — Вот увидишь, все обойдется.

— Зря ты это говоришь, — сказал Армант. — Очень мало шансов.

— Мало, но есть, — сказал Шанур. — Только не сдавайся.

— Не получится, — сказал Армант. — Я уже тряпка. Эта штука сначала превращает человека в тряпку, а потом уже, обезоружив… Гадость.

— По-моему, ты неплохо держишься, — сказал Шанур. — Правда, он неплохо держится?

— Правда, — сказал Петер.

— Тоже мне, — сказал Армант. — Утешители нашлись.

— Вовсе я тебя не утешаю, — сказал Шанур. — Я говорю, что ты просто раскис заранее.

— Иди-ка ты, дружище, знаешь куда? — сказал Армант. — Раскис — не раскис… Сам-то — сопли по витрине развозишь. Туда же: не сдавайся…

— Я не говорю, что мне тяжелее, — возразил Шанур. — Мне просто по-другому.

— Я бы с тобой поменялся, — сказал Армант.

— Хитрый, — сказал Шанур. — Свое дело ты сделал — теперь хочешь мое у меня перебить?

— Твое — у тебя… Жаль, что тебя не оказалось тогда рядом. Сейчас бы лежали вместе… и сейчас, и потом…

— Жаль, — сказал Шанур. — Правда, жаль. А ты помнишь, как я учился ездить на мотоцикле?

— Помню, — сказал Армант. — У меня до сих пор этот шрам чешется. Жаль, что ты тогда ничего себе не оторвал. Мне бы сейчас спокойней было.

— Такова воля божия, — сказал Шанур, передразнивая кого-то, оба засмеялись, и тут Армант закашлялся, надрывно и долго, посинел лицом, задыхаясь, и Петер пытался отпоить его водой, а Ив не мог ее проглотить, так его скручивало кашлем, потом он все-таки перевел дыхание, и, когда он откинулся на подушку, Шанура уже не было в блиндаже.

На просмотр готового фильма допущен был только генерал. Петер, естественно, управлялся с проектором и волей-неволей должен был находиться здесь же — правда, он был доверенным лицом (пардон: он был лицом, облеченным доверием; в тонкостях канцеляризмов разобраться, пожалуй, потруднее, чем в эпилектике морганизмов Шарля Вержье); разумеется, присутствовал автор. И так, втроем, при закрытых — и охраняемых — дверях, они смотрели готовый фильм, — готовый, законченный, оставалось лишь подклеить конец его, который будет снят летом, и не здесь, а на южном фронте.

Петер смотрел фильм. Титры. Название: «Мост Ватерлоо». Фронтовая кинохроника. Инженер Юнгман со своими размышлениями, офицеры и генералы, генерал Айзенкопф и полковник Мейбагс (которые на самом деле подполковник-адъютант и настоящий генерал Айзенкопф), потом начальные кадры строительства, которыми мог бы гордиться любой бутафор-профессионал, настолько натуральны были декорации, потом трудовой энтузиазм саперов; и воздушные налеты — не такие, правда, как на самом деле, но все же взрывы пиропатронов, снятые рапидом, на экране вполне сходили за взрывы бомб, а обломки самолетов, облитые бензином и подожженные, горели так же, как горели уже один раз. Шли отлично сыгранные сцены с диверсантами, и офицер-кавалергард, один из главных героев фильма, стоял с пистолетом на фоне горящей электростанции (элементарный кинотрюк с наложением двух кадров — так называемая «блуждающая маска»); не было ни изменников, ни судов. Мост, достроенный до конца, упирался в противоположный берег, изгибался плавной дугой, и по нему шли танки, много танков, и ни у кого не могло оставаться ни малейших сомнений, что это — конец войне, победный, славный конец. Все было снято отлично, и Петер кусал губы, видя, что накладок практически нет, все правдоподобно, и полковник Мейбагс, появляющийся то тут, то там, был обаятелен, особенно в поварском колпаке, разливающий суп в солдатские котелки — нет, господин Мархель был мастером своего дела. И почти физически ощущая затягивающую гладкость происходящего на экране, Петер заставлял себя помнить о без малого четырех сотнях коробок с кинолентой, разбросанных среди саперов и спрятанных ими в тайничках, и о главном своем тайнике, где есть отличные вещи, которые когда-нибудь взорвут, как мины, эту добротно сработанную ложь.

— По-моему, неплохо, — сказал господин Мархель, когда Петер остановил проектор и включил свет. — Вот эта сцена у статуи Императора — это почти шедевр. Без ложной скромности.

— Хорошо, — сказал генерал. — Император будет доволен.

— Не знаю, — сказал Петер. — Чего-то не хватает. Чего-то остренького. Все слишком гладко. Перчику бы.

— М-м… — господин Мархель пожевал губами. — Как, Йо? Перчику добавим?

— Ни к чему, — сказал генерал. — Не испортить бы.

— И все-таки надо подумать, — сказал Петер. — Вечерком подумаем, Гуннар, ладно? Посидим, подумаем…

— Перчику… — сказал господин Мархель и задумался. — Остренького…

Весна началась порывами страшной силы ветра — ночью, тугими толчками, теплый и влажный, он ворвался в ущелье, расшвыривая остатки зимнего холода, распирая тесное пространство ущелья, страшно завывая в вантах моста, бросаясь на любые преграды, молодой, сильный, счастливый… К утру ветер стих, и поднявшееся солнце было уже весенним. Петер, вставший с сильной головной болью — в сочинениях «перчика» он и господин Мархель истребили немало растормаживающих воображение напитков, — не сразу понял, что именно произошло, потому что мир переменился и все вчерашнее стало именно вчерашним: такое уж действие оказывает весна на человеческие организмы, обманывая, конечно. Дверь блиндажа была открыта настежь, и оттуда тек воздух, полный странных, забытых за год запахов, и Армант, сидя на своей койке, жадно ловил этот воздух и вглядывался в проем двери, и оттуда появились Камерон и Брунгильда в расстегнутых шинелях, без шапок.

— Тает, ребята, тает!

— Какая весна!

— Скорей наружу!

— Боже мой, какая весна! —

— и на Петера пахнуло кружащим голову теплом, и те двое повели, придерживая, Арманта, накинув на него шинель и косо надвинув на голову Петерову шапку — какая подвернулась под руку, скорее! — и сам Петер, натянув только штаны, голый по пояс, вышел и ослеп на миг не столько от света — и от света тоже, свет, голубой, белый, желтый, ослепительный и чистый, затоплял все на свете, — от света и от нахлынувшей горлом радости, первобытной радости простого бытия — и от желания жить, черт возьми, и он закричал что-то вроде: «О-го-го-го! Весна пришла!» — и подпрыгнул высоко, показывая кому-то там, в небе, крепко сжатый кулак. Потом схлынуло, вернулась головная боль — теперь это надолго, на весь день, не помогает от нее, проклятой, ничего, кроме пива — а до пива километров триста, — ни шнапс, ни чай, ни аспирин. Ну, да ладно — болит и болит. Спина тоже болит и чешется, а часто ты про нее вспоминаешь? Так и здесь — отвлечешься и забудешь.

Снег уже отяжелел и, там, где был примят, притоптан, — чернел, много же грязи и сажи впитал он в себя за долгий свой срок… зима кажется такой опрятной… «опрятная» — не от слова ли «прятать»? Похоже. Вернувшись в блиндаж, Петер оделся, помог уложить Арманта, слабо улыбающегося и чуть порозовевшего, и отправился к господину Мархелю, потому что вчера так ничего и не решили окончательно — господин Мархель был тертый калач, но, может быть, на «перчике» его удастся купить и втолкнуть в фильм что-то позволяющее сомнения относительно своей подлинности; все-таки что касается вкуса — тут господин Мархель был небезупречен.

Уже текли ручьи, и о красное пятно Петер чуть не споткнулся — снег напитывался красным, проступающим изнутри, и красные струйки примешивались к воде ручья, растекаясь розовыми разводами, а саперы проходили мимо и не обращали внимания, пересекали это красное пятно, оставляя в нем свои следы, тут же наполняющиеся густой красной жидкостью; Петер оцепенело стоял, пока его не отодвинули — вежливо, подполковник все-таки: два десятка саперов с лопатами под командованием прыщавого обер-лейтенанта стали забрасывать пятно чистым снегом. Тогда Петер огляделся по сторонам. Пятен было много, ручьи, сливаясь, текли по дну ущелья мутным темно-розовым потоком, и везде мелькали лопаты, лопаты, лопаты… Шанура Петер увидел издали, тот шел медленно, останавливался около саперов и начинал говорить, и Петер, хоть и не слышал его и не мог слышать с такого расстояния, понимал все до последнего слова. «Земля не принимает больше нашу кровь, — говорил Шанур, — не принимает давно, она напиталась кровью и больше не хочет ее. Мать не хочет крови своих детей. Не для того она рожала, кормила и терпела нас, чтобы выпивать нашу кровь. Нет ничего позорнее, чем насилие над матерью. Вас со всего света согнали сюда, чтобы здесь убить. Вы все умрете, если останетесь здесь. Так что вас здесь держит? Только страх, что могут догнать и убить? Взятое с вас слово? Пролитый пот? Что еще? Привычка слушаться и подчиняться? Какие химеры! Уходите отсюда все! Вы не нужны здесь никому, а главное — вы не нужны здесь земле! Она сама гонит вас. Вы думаете почему-то, что это геройство — остаться под огнем и помереть за что-то. А настоящее геройство — это сохранить себя, потому что это и труднее, и нужнее, а главное — потому что придется переступить через себя, через свое рабство и страх, для этого надо хоть на миг почувствовать себя свободным — так почувствуйте же! Смотрите на меня! Я, человек, пытавшийся сохранить правду о вас, — я призываю вас к свободе, к свободе перед всем в мире, а главное — перед самим собой. Человека нельзя заставить сделать что-то против его воли, потому что у свободного человека всегда есть возможность выбрать между бесчестием и смертью, и смерть в этом выборе имеет равный вес с бесчестием. Самое маленькое из бесчестий весит столько же, сколько смерть. Вы все знаете, что это так, но привыкли и смирились с тем, что от вас ждут не выбора, а послушания, что ваша голова и совесть не нужны никому, а нужны только руки и ноги. Так прозрейте! Учитесь быть свободными! Раб мечтает о том, чтобы иметь право выбирать себе хозяина, а свободный человек — чтобы быть хозяином в любом выборе. Всю свою жизнь человек идет рука об руку со смертью — от небытия к небытию, но раб ждет, когда его позовут, а свободный все выбирает сам. Так выбирайте же жизнь! Рискнуть жизнью, чтобы сохранить ее, — это куда достойней, чем рабски трястись над нею в надежде на милость судьбы. Уходите отсюда! Скрывайтесь, прячьтесь, сдавайтесь в плен — все достойно, потому что земле не нужна больше ваша кровь, потому что позорна смерть в этой войне, не нужной никому…» Шанура окружали и слушали, не выражая ни порицания, ни одобрения, слушали равнодушно, с усталым интересом; наконец спины слушающих закрыли Шанура от Петера, а когда Петер протолкался к нему, Шанура уже уводили, завернув ему руки за спину, солдаты комендантского взвода. Они все прошли мимо Петера, меся ногами красный снег, и Шанур посмотрел на Петера и кивнул ему, узнавая.

Мимо, вслед за уходящими, проскользнул Камерон с кинокамерой, бледный и решительный, и Петер сказал ему: «Не отходи от них далеко, я его выцарапаю», — Камерон кивнул, а Петер бегом, оскальзываясь на раскисшем снегу, ринулся к штабу, к квартире генерала, к резиденции господина Мархеля, прокручивая в голове комбинации, по которым освобождение Шанура исходило бы от них, но добежать не успел, потому что на дороге разорвался снаряд, потом еще и еще, Петер нырнул в кювет, стреляли откуда-то со стороны подъездной дороги, там поднялась заполошная стрельба изо всех видов оружия, непонятно было только, кто и в кого стреляет, взрывов поблизости больше не было, потом мимо Петера, обдав его грязью, промчалось несколько грузовиков — туда, в ту сторону, и за борт последнего Петер, догнав и подпрыгнув, ухватился, подтянулся и перевалился в кузов, на ящики со снарядами. Через минуту грузовик затормозил на позициях артиллеристов. Петер выпрыгнул и, пригибаясь, побежал дальше — туда, где что-то происходило. Стрельба поутихла немного, и в нее в паузах вклинивался новый звук — далекий рев многих моторов, танковых моторов, уж его-то Петер мог вычленить из любой какофонии. Кто-то метнулся ему наперерез, но тут рвануло черным слева. Петер зарылся в снег, и над ним пронесло распластанное тело. Перед ним шагах в сорока был гребень, за которым что-то творилось, — туда, за гребень, летели трассы из-за спины, и оттуда, кажется, прилетали снаряды. Он преодолел эти сорок шагов в несколько приемов и наконец увидел все как на ладони.

Танков было десятка два, и несколько задних уже горели, тяжелый жирный дым выбивался из люков, из жалюзи и стлался по земле; передний стоял поперек дороги, распустив гусеницу, и часто бил из пушки куда-то в противоположную от Петера сторону, потом он взорвался и зачадил. Это были вражеские танки, легко узнаваемые по характерным шестигранным башням и длинным тонким стволам пушек. Основная часть колонны была, кажется, в мертвой зоне, снаряды ее не доставали. Три танка обошли сбоку пылающий головной и на большой скорости рванулись вперед, один тут же вспыхнул, но не остановился, и все три пропали из виду. Остальные не двигались, потом у одного распахнулся верхний люк, и оттуда высунулся по пояс танкист, тут же схватился за голову и откинулся назад, его втащили внутрь, люк закрылся. Боковым зрением Петер уловил какое-то движение — это артиллеристы на руках катили спаренную зенитную пятидесятисемимиллиметровку, дальше — еще одну. Слева, ревя моторами и опустив стволы, шевелились зенитные самоходки. Дальше все произошло быстро: захлопали выстрелы, и взорвались еще два танка, остальные ответили вразброд, одна самоходка подпрыгнула и опрокинулась от удара, а потом разметало расчет ближней к Петеру пятидесятисемимиллиметровки, но огонь нарастал, где-то еще подтянули орудия, и танки, зажатые в лощине, вспыхивали один за другим—отсутствие камеры Петер в этот момент ощущал как отсутствие оружия, — и тут со стороны стройки появился легковой вездеходик, в котором кто-то стоял и размахивал белым флагом! Вездеходик влетел прямо под перекрестный огонь, бесстрашно лавируя между горящими машинами, стоящими и еще пытающимися ползти, но то ли его не видел никто, то ли горячка боя затянула всех, но огонь стих не сразу, и, только когда пламя разрыва метнулось из-под самого вездеходика и он опрокинулся, стрельба прекратилась. Тишина навалилась сверху, страшная, страшнее канонады, потому что говорили о новом несчастье, и Петер и остальные, кто лежал и стоял на гребне, на линии огня, не трогались с места и почти не шевелились, чтобы не приблизить тот миг, когда несчастье станет понятным и потому необратимым, а пока что оставалось еще подобие надежды… ничто не шевелилось там, в лощине, танки стояли и горели молча и неподвижно, лишь дым тек, то поднимаясь, то стелясь, оставляя черные разводы на серо-красном снегу… кто-то ковылял между танками, кто-то выбирался из люков, но это не меняло картины общего оцепенения. Беззвучно взлетела на огненном столбе башня одного из горящих танков, и попадали черные фигурки, и вдруг издалека, оттуда, откуда пришла колонна, донесся звук автомобильного мотора, и на побоище влетела полуторка с прицепленной полевой кухней, затормозила, и из кузова скатился человек в белом полушубке. Петер видел это уже на бегу, он мчался вниз, и кто-то еще бежал следом, а человек в белом полушубке, пожилой и усатый, тормошил лежащих на снегу танкистов, тех, кто выпрыгнул под пули и осколки, и тех, кого вытаскивали из люков разбитых машин уцелевшие, он тормошил их, заглядывая в лица, в сгоревшие лица, в выбитые глаза, полушубок его был весь в крови, а он громко и недоуменно повторял: «Ребятки… да что же это? Да как же вы? Ребятки… ребятки… А я-то гнал за вами, картошка горячая еще… и компот, как просили… и рыбки я вам достал, красной, много… ребятки, да что же это?..» Танкисты перевернули вездеходик, и на снегу остались лежать шофер генерала Айзенкопфа с разбитой головой и майор Камерон с камерой через плечо, с обломком древка в руках, и Петер встал на колени и нагнулся к нему, и Камерон открыл глаза и сказал что-то громко и неразборчиво, изо рта его пошла кровь, Петер обтер ему лицо снегом, и Камерон, поморгав глазами, приподнялся и стал выплевывать изо рта осколки зубов и сгустки крови.

— Живой! — выдохнул Петер, и Камерон, кивая и отплевываясь, стал колотить его кулаком в плечо и показывать в направлении стройки, Петер понял его, но Камерон не мог идти, подламывалась нога, и Петер стал кричать на оглохшего танкиста, который неожиданно понял его, подогнал уцелевший танк. Петер и Камерон взобрались на броню и уцепились за скобы, и танк пошел на стройку, танкист стоял в люке, Петер наклонился к нему и показывал, куда ехать, и они остановились возле резиденции господина Мархеля. Петер влетел в помещение и столкнулся в дверях с Брунгильдой, через ее плечо он увидел лежащее на полу тело, и еще кто-то стоял, уперевшись руками в стену. «Уже увели!» — крикнула Брунгильда, и они вернулись к танку: туда, куда уводили, можно было доехать. Петер крикнул: «Скорей!» — и показал куда, и танк, взревев, покатился, они стояли на броне и всматривались вперед, ожидая увидеть конвой, но никого не увидели. Площадка у обрыва, где расстреливали, была пуста. Петер и Брунгильда подбежали к самому краю, непонятно зачем: следов было много, старых и новых, и стреляных гильз тоже много, втоптанных в снег и лежащих на снегу. Они бросились обратно к танку, нужно было куда-то торопиться, только непонятно куда.

— Где Мархель? — прокричал Петер, надсаживаясь, чтобы перекрыть рык танкового мотора.

— Готов! — крикнула в ответ Брунгильда.

— Надо было взять! Живым! — крикнул Петер.

— Я! — Брунгильда ткнула себя в грудь. — Одна! — И Петер понял, что одной взять Мархеля было не под силу.

Танк снова остановился возле резиденции, и Петер влетел туда. На полу, лицом к стене, лежало тело, и Петер сразу понял, что это не Мархель — черт знает как, но понял. Он перевернул труп на спину, лицо было похоже, но только похоже, не более.

— Не он, — сказал Петер побелевшей Брунгильде.

— Вижу, — одними губами ответила Брунгильда. — Не он. Удрал… Поехали трясти комендатурщиков.

Но возле танка уже стояли штабные офицеры, и танкист, сняв с головы шлем, все время пытался что-то смахнуть с лица, тер щеки руками, потом принимался обтирать руки о комбинезон, и подполковник из генеральской свиты свирепо спрашивал у него что-то, а танкист смотрел на него ненормальными глазами и продолжал стирать с лица что-то невидимое, но липкое. Потом подполковник повернулся и увидел Петера.

— Где ваш главный? — рявкнул он.

— Сбежал, — зло сказал Петер.

— П-проклятье, — скрипнул зубами подполковник. — Давно?

— Только что, — сказала Брунгильда. — Я ошиблась, понимаете? Они там переодеваниями занялись…

— Вызывай своих по рации! — крикнул подполковник танкисту. — Мимо них будет проезжать штабной «хорьх» — пусть расстреляют!

Это танкист понял сразу и рыбкой нырнул в люк.

— Не видели нашего оператора, которого арестовали? — спросил Петер.

— Нет, — сказал подполковник. — Ваших, значит, тоже арестовывают? Ну-ну…

— Где генерал? — спросил Петер.

— Генерал? — удивился подполковник.

— Тьфу! — плюнул Петер. — Полковник Мейбагс. Где он?

— Полковник Мейбагс умер позавчера от сердечного приступа. Я заступил на его место.

Подошел адъютант и приколол на погоны подполковника по третьей короне.

— Поздравляю! — зло сказал Петер.

— Вот это вы зря, — сказал полковник.

— Господин полковник, — сказал Петер, — прошу вас дать приказ срочно разыскать нашего оператора — ему грозит смерть.

— Дел у меня больше нет, — сказал полковник. — Ищите сами. Заварили кашу… кино… Вон двенадцать танков — как корова языком! Все этот ваш… ну, попадется он мне! Специально послали нам трофейные танки для диверсионных действий, а он… Снимали это?

— Нет, — сказал Петер. — Камер не было там.

— Слава богу, — сказал полковник. Высунулся танкист.

— Проскочил, — коротко сказал он и полез из люка.

— Что значит — проскочил? — заорал полковник. — Промазали, что ли?

— Не успели, — сказал танкист. — Минутой бы раньше.

— У-у! — взвыл полковник. — Ну, я не я буду!..

Он еще орал и матерился, а Брунгильда уже тащила Петера за рукав, объясняя на бегу, что сейчас они нагрянут на комендантский взвод и вытрясут душу из конвойных…

Ничего они не вытрясли. Лейтенант, командир взвода, стоял перед взбешенным подполковником навытяжку, бледный, как сама смерть, и твердил одно: арестованный был доставлен в штаб, дальнейших распоряжений не поступало.

— Он его что — с собой увез? — кричала Брунгильда.

— Ничего не понимаю, — повторял, как заведенный, Петер. — Ничего не понимаю…

В их собственном блиндаже было пусто, и даже больной Армант отсутствовал. Как вихрь будто прошелся по помещению, все было содрано, сброшено на пол, сдвинуто со своих мест, кто-то торопливо и грубо искал что-то в вещах, в рюкзаках, в одежде.

— И этого нет, — сказала Брунгильда и вдруг опустилась на пол. — Боже мой, — всхлипнула она, — боже мой, что я наделала… он же не виноват, что так похож… господи, прости меня, я не хотела!..

— Брун, — Петер попытался ее поднять, — Брун, не время, надо искать…

— Мы его не найдем, — вдруг совершенно спокойно сказала Брунгильда. — Его больше никто не найдет. Уже никто не знает, где он. Мы опоздали, он исчез из мира..

— Так не бывает, — сказал Петер. — Не бывает, чтобы исчез совсем — так сразу.

— Здесь все бывает, — сказала Брунгильда. — Его уже нет — я чувствую.

В дверях завозились, и в блиндаж задом впятился огромный сапер, волоча кого-то под мышки — это был Армант. Его положили на копку, сапер деликатно отошел в сторонку, Брунгильда дала Арманту глотнуть шнапса, и тот открыл глаза.

— А… вы… — Армант вздохнул. — Ну вот и все… финиш.

— Кровь у него горлом шла, — сказал сапер.

— Петер, — зашептал Армант, — слушай меня. Христиана — это не я. Верь мне — не я. Они его пауком напугали и потом все время паука перед ним держали, он их боится страшно, но я тут ни при чем, клянусь… матерью своей клянусь — я ни при чем, я не знаю, как они узнали…

— Где Христиан? — спросила Брунгильда.

— Не знаю, — сказал Армант. — Кажется, убили. Или улетел. Не видел.

— Как — улетел? — спросил Петер, готовый поверить во все.

— Не знаю. — Голос Арманта был совсем слабый, прерывающийся. — Так говорят… я не видел — так говорят — улетел… или убили. Не знаю. Видел, как его уводили…

— Из штаба?

— Из павильона.

— О, ч-черт! — простонал Петер. — Павильон! Как я забыл? А ты снимал? Что ты снимал? Ну?

— Советник показывал Христиану, как великие гиперборейские атланты держат мост на своих плечах…

— Что?!

— Трех голых саперов поставили напротив камеры, а мост — простым наложением… вот его — за Слолиша… — Армант показал рукой на сапера.

— Ты видел Шанура? — спросил Петер сапера.

— Это чернявенький такой? — спросил сапер. — А как же, видел. Только, наверное, прислонили его. Потому как сняли и тут же увели.

— Я побегу, проверю, — сказала Брунгильда. С автоматом в руках она метнулась из блиндажа, и Петер больше никогда в жизни не видел ее.

— Ты представляешь, Петер, — великие гиперборейские атланты… Гангус, Слолиш… и младшенький их — Ивурчорр… — говорил Армант странным голосом, будто удивляясь тому, что сам говорит. — Наши великие славные предки… сыновья Одина, произведенные им от смертных женщин… жили в доме на берегу моря и промышляли морского зверя, рыбу и птицу… никогда не видели женщин и округляли друг друга… — Армант хихикнул. — Потом Один вразумил их… они пошли на юг и набрели на рыбачий поселок… перебили всех мужчин, а женщин взяли себе в жены — от них-то, мол, и пошел наш великий народ. О, господи… потомки педерастов! Петер, ты представляешь?

— Представляю, — сказал Петер.

— А советник молился им: о великие гиперборейские атланты Гангус, Слолиш и Ивурчорр, да протянется ваша могучая длань сквозь века и мили… и еще о падении нравов… и они явились и подставили свои спины под этот игрушечный мост — убожество! Убо…

Он вдруг замолчал, будто прислушиваясь к чему-то, замер — и тут кровь фонтаном хлынула ему на грудь. Он упал навзничь, руки его еще шевелились, ловя воздух. Петер перевернул его лицом вниз, но это ничего не изменило: через минуту Армант умер.

Когда Петер подбежал к павильону, от него остался уже только каркас. Под переплетением стальных арок и нервюр ворочались бульдозеры, заравнивая рукотворный ландшафт. Экскаватор ссыпал в киношный каньон лежавшую в отвалах землю, и на месте каньона уже высился большой бугор.

— Что у вас там зарыто? — спросил Петер руководившего работами капитана.

— Ничего, — сказал капитан и пристально посмотрел на Петера. — Ничего абсолютно. Просто земля рыхлая. Сейчас утопчем. Эй! Утопчите землю!

Саперы взобрались на бугор и принялись сапогами утаптывать его.

— Вот видите, — сказал капитан. — Утаптывается.

— Женщина-техник из киногруппы была здесь? — спросил Петер.

— Нет, — испуганно сказал капитан. — Нет-нет. Никого здесь не было! Никаких женщин!

Он искал Шанура и Брунгильду долго, обошел всю стройку, но никто ничего не видел — или пугался и отворачивался. Потом что-то толкнуло его — Баттен! Это было дурацкое предположение, но ведь ищем же мы иногда только что потерянные очки в бабушкином сундуке, не отпиравшемся сто лет, — конечно, не находим, но если не заглянем в него, будет постоянно мерещиться, что пропажа именно там. Берлога Баттена была отлично замаскирована, и Петер потыкался там, в скалах, в тупики, пока нашел ее.

Лаз в берлогу был занавешен толстым войлоком, и войлоком же был устлан пол. Горела керосиновая лампа, и за столом сидели трое: Менандр, Баттен и женщина — спиной — Брун!.. нет, не Брунгильда, другая, но почему-то знакомая, она обернулась и улыбнулась Петеру пьяной улыбкой, и он узнал ее: это была Лолита Борхен.

— А, Петер, давненько ты у нас не был!

— Петер, проходи, старина!

— Лолита, наливай-ка господину подполковнику коньячку!

— Господин подполковник, позвольте…

— На брудершафт!

— Лолита, не напирай!

— Погодите, — Петер выбирался из-под них троих, как из-под упавшей липкой паутины, — погодите, у вас тут Шанура не было? А Брунгильды?

— Не было, не было!

— А коньячку?

— Ну, господин подполковник!..

— Слушай, Петер, — сказал Менандр вполне твердым голосом. — Тут наклевывается выгодное дельце — но нужна чистая кинолента. Там у тебя не остается ничего?

— Остается, — сказал Петер. — Катушек двадцать есть. А что?

— Да вот решили сами фильм снять. Камера у нас есть, свет добудем, а главное — исполнительница застоялась. Точно, Лолита? А представляешь — в этом антураже, в пещере, при свечах — и такая женщина! Да такую ленту и по ту, и по эту стороны каньона с руками оторвут!

— Ладно, — сказал Петер. — Поглядим. А пока давай-ка сюда мои ленты, я с десяток отберу… что?

— Так это… ну… как тебе сказать? В общем, нет их.

— Как это нет? Ты же говорил — здесь, в безопасном месте?

— Так это когда оно было безопасным? Это ж давно… Я их в более безопасное место пристроил.

— Куда? — спросил Петер, холодея, потому что уже догадался — куда.

— Так это… за каньон. Там-то всего безопаснее…

— Понятно, — сказал Петер. Внутри его стремительно разрасталась пустота, которую нужно было немедля чем-то заполнить, пока она не поглотила все. — Понятно…

Он вынул пистолет из кобуры.

— Предатели, — сказал он. — Паскуды. Иуды кромешные. Мразь поганая. Дерьмо. А ну, к стенке!

Менандр и Баттен медленно, как во сне, поднимались на ноги, а Лолита Борхен сползла на пол и сидела широко открыв рот и, кажется, визжала.

— К стенке, — повторил Петер, показывая пистолетом, куда именно.

— Ты это… Петер… погоди, — сказал Менандр. — Ты не думай, мы поделимся. Мы еще не все получили. Вот динарами… двести тысяч… все можешь взять, нам-то не надо, зачем нам деньги, правда, Баттен? А вот доллары, тридцать тысяч, тоже все забирай. И ее бери, она ничего девка, мягкая, забирай… только этого… твоего… не надо. Не надо, ладно? Ну что ты молчишь?

— Кончил? — спросил Петер. — А ты?

— Кончай волынку, не тяни душу! — взмолился Баттен, и Петер, подняв пистолет на уровень глаз, выстрелил Менандру в голову — в голову, но в последний момент его толкнули под локоть далекие отсюда жена Менандра, и его три дочери, и внуки, уже рожденные и еще пет, — и пуля взбила пылевой фонтанчик у самой макушки Менандра, и он, серый, как войлок, осел на пол; на Баттена Петер только взглянул, и этим взглядом Баттена швырнуло об стену, и так он и остался, повиснув на стене, как плевок; Лолита Борхен ползала в ногах Петера и голосила истошно, пытаясь поцеловать его разбитые итальянские ботинки, Петер брезгливо отстранился и вышел.

Снаружи было сумрачно и сыро. Где-то вдали гудели и завывали моторы, а потом ветер донес обрывки похабной частушки. Петер шел спотыкаясь, что-то ему мешало, потом он понял — что, и засунул пистолет в кобуру. Все впустую. Полгода работы — коту под хвост. Предатели. Проститутки вонючие. Подонки. Все, все — к черту, к дьяволу… И тут его осенило — тайник! Есть же еще мой тайник!

У блиндажа, где якобы сидел майор Вельт, стояли часовые. Петер не стал туда заглядывать, он и так знал, что по ночам там собираются саперные офицеры, пьют ром и играют в карты. Пока, наверное, там пусто.

Подонки… предатели… паскуды…

Возле статуи Императора Петер остановился. Из постамента исходили странные звуки. Приобретая невидимость и неощутимость, Петер заглянул внутрь. Там было тесно и душно, пахло разгоряченными телами и перегаром. Трещал кинопроектор. На экране, висящем так высоко, что приходилось задирать голову, кинозвезда Лолита Борхен занималась любовью с двумя неграми. Зрители бурно сопереживали. Петер почувствовал вдруг, как внутри себя он сжимается в крохотный комочек, крохотный и горячий комочек, и оттуда, из комочка, видит себя изнутри, видит внутреннюю поверхность своего внешнего облика и через глаза, как через бойницы, выглядывает наружу… видит пистолет в вытянутых руках, и как он дергается от выстрелов, и как на белом полотне экрана образуются глубокие черные дырочки, тут же затягивающиеся сплетением света и теней, и как трое на экране продолжают заниматься любовью, не обращая никакого внимания на пробивающие их пули и на поднявшийся шум… и потом, взглянув вниз, видит, как нога его ударяет по проектору и тут, наконец, на экране остаются только черные дырочки, зато у тех, кто вскочил со своих мест и окружает его, на месте их гладких, безглазых и безротых лиц возникают то физиономии негров со сверкающими зубами и белками, то красивое и глупое лицо Лолиты Борхен, а вот у этого, впереди всех, вместо лица — круглая задница Лолиты… потом в голове у Петера взорвалось, и пришел он в себя от холода.

Кряхтя от боли, он встал — сначала на четвереньки, потом на ноги. Трудно было понять, где именно он находится. Он прошел немного вперед и наткнулся на выходящий из земли толстенный швеллер стапеля. Вот, значит, где я, Подумал Петер. Хотели бросить в каньон, но почему-то не дотащили… Ладно.

И тут он вспомнил о тайнике. Ему понадобилось вдруг дотронуться, чтобы получить силу существовать дальше. Петер прошел мимо часовых, нашел яму, лег на землю и дотянулся до коробок. Коробки были на месте… стоп! Это были не коробки. Он вытащил одну — еще не веря себе. Это была банка с тушенкой. Он, как мог глубоко, просунулся в дыру, перещупал все жестянки. На всех были характерные закраины. Кто-то продал тайник. Все, Петер?

Все, сказал он себе. Выходит, что все. Все. Вообще все. Ничего не осталось. Будто ничего и не было. Ничего не было.

Только на рассвете Петер стал вновь помнить себя. Странная, пугающая пустота этой ночи начиналась где-то за переносицей и уходила в глубину, где и терялась. Петер сидел на мосту, на самом конце моста, и смотрел на противоположный берег каньона. До него было метров сорок. Мост медленно покачивался, и тот берег плыл перед ним попеременно вправо и влево, и эти плаванья сопровождались глухими всхлипами металла, и изредка вдоль моста, как вдоль обнаженного нерва, пробегала похожая на говор сотен детей волна — возникала и уходила. Потом сзади возникли еще и шаги, сначала искаженные до неузнаваемости, превращенные в ритмичный перебор струн ненастроенного инструмента, и лишь постепенно ставшие именно шагами. Петер помнил, какие бывают ощущения от ходьбы по решетчатому настилу моста: будто одновременно с тобой на те же самые места наступает кто-то снизу — то есть не совсем одновременно, а с крохотным запозданием, и это вырабатывает особую походку у идущих по мосту. Петер нехотя оглянулся. Это шел Козак.

Почему-то именно Козака Петер не хотел сейчас видеть, но Козак шел, и Петер подвинулся, чтобы Козак сел рядом.

— Ты чего пришел? — спросил Петер.

— Майор твой велел тебя найти, — сказал Козак.

— Камерон?

— Да.

— Как он там?

— На ночь морфий вводили — спал. Язык ему порвало да зубы повыбило.

— Видел. Христиан не нашелся?

— Говорят, он улетел, — сказал Козак хмуро.

— Странно, — сказал Петер.

— Странно, как еще все не разлетелись.

— Ничего странного, — со злостью сказал Петер. — Вы никогда не разлетитесь. Вы такие умелые, такие замечательные, вы так хорошо приспосабливаетесь ко всему — и вам так мало надо, чтобы жить… вами так легко командовать… Ненавижу! — задохнулся вдруг он. — Ненавижу вас! Господи, как я вас ненавижу…

Козак сидел и молчал. Утро стремительно превращалось в день, и в этот день следовало еще что-то сделать, потому что так принято в этой жизни.

Мост тихо плыл мимо того берега, и Козак, оторвавшись от своих мыслей, сказал вдруг:

— Смотри, снайпер.

Там, где к серой скале прилепился густой куст краснотала, блеснул зайчик в стекле оптического прицела. Козак вяло помахал туда рукой.

— Не стреляй! — крикнул он. — Нихт шиссен! Донт шут! Но сатена!

Из-за куста показался сначала ствол винтовки, потом голова снайпера. Потом снайпер высунулся по пояс.

— Гива у ло смак цу? — спросил он и, чтобы было совсем понятно, добавил: — Тобако!

— Закурить просит, — перевел Козак. Он похлопал себя по карманам, посмотрел на Петера. Петер вытащил пачку, заглянул. Там было еще пять сигарок. Он оставил по одной для себя и K°зака, выщелкнул из запасной обоймы три патрона и положил их в коробку для тяжести.

— Хази! — крикнул он и, размахнувшись, бросил коробку снайперу. Тот поймал ее, сунул сигарку в рот, закурил, выпустил клуб дыма и изобразил на лице полнейшее блаженство.

— Тенгава ло! — крикнул он. — Блугадрен! Козак дал Петеру прикурить, закурил сам.

— Скорей бы война кончилась, — сказал он. — Мост достроим, будем друг к другу в гости ездить. У них там, говорят, такие места…

— Угу, — согласился Петер. Он выщелкнул еще один патрон, наклонился вперед, заглянув в головокружительную пропасть, и уронил патрон вниз. Он был долго виден — летящей желтой искоркой. Потом исчез.